

РУССКАЯ КЛАССИКА

Александр

КУРШ

Отец



Александр Куприн
Олеся (сборник)

«Public Domain»

Куприн А. И.

Олеся (сборник) / А. И. Куприн — «Public Domain»,

ISBN 5-04-007984-2

Тонкое владение богатой палитрой психологического анализа, умение точно воссоздавать бытовые детали и выстраивать увлекательный сюжет способствовало тому, что за Александром Куприным рано укрепилась слава «русского Мопассана». Покинув Россию вскоре после Октябрьской революции, писатель не растратил богатый талант, бурно расцветший на заре XX века. В эту книгу наряду с хрестоматийными вещами («Олеся», «Гамбринус») вошли сравнительно мало известные произведения Куприна: исторический роман «Юнкера»; «Лазурные берега» – воспоминания о годах, проведенных во французской эмиграции, и др.

ISBN 5-04-007984-2

© Куприн А. И.

© Public Domain

Содержание

Юнкера	5
Часть I	5
Глава I	5
Глава II	10
Глава III	13
Глава IV	18
Глава V	20
Глава VI	23
Глава VII	29
Глава VIII	33
Глава IX	35
Глава X	40
Глава XI	44
Глава XII	48
Глава XIII	52
Глава XIV	57
Часть II	63
Глава XV	63
Глава XVI	67
Глава XVII	72
Глава XVIII	76
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Александр Куприн

Олеся (Сборник)

Юнкера

Часть I

Глава I

Отец Михаил

Самый конец августа; число, должно быть, тридцатое или тридцать первое. После трехмесячных летних каникул кадеты, окончившие полный курс, съезжаются в последний раз в корпус, где учились, проказили, порою сидели в карцере, ссорились и дружили целых семь лет подряд.

Срок и час явки в корпус – строго определенные. Да и как опоздать? «Мы уж теперь не какие-то там полуштатские кадеты, почти мальчишки, а юнкера славного Третьего Александровского училища, в котором суровая дисциплина и отчетливость в службе стоят на первом плане. Недаром через месяц мы будем присягать под знаменем!»

Александров остановил извозчика у Красных казарм, напротив здания четвертого кадетского корпуса. Какой-то тайный инстинкт велел ему идти в свой второй корпус не прямой дорогой, а кружным путем, по тем прежним дорогам, вдоль тех прежних мест, которые исхожены и избеганы много тысяч раз, которые останутся запечатленными в памяти на много десятков лет, вплоть до самой смерти, и которые теперь веяли на него неопишуемой сладкой, горьковатой и нежной грустью.

Вот налево от входа в железные ворота – каменное двухэтажное здание, грязно-желтое и облупленное, построенное пятьдесят лет назад в николаевском солдатском стиле.

Здесь жили в казенных квартирах корпусные воспитатели, а также отец Михаил Вознесенский, законоучитель и настоятель церкви второго корпуса.

Отец Михаил! Сердце Александрова вдруг сжалось от светлой печали, от неловкого стыда, от тихого раскаяния... Да. Вот как это было:

Строевая рота, как и всегда, ровно в три часа шла на обед в общую корпусную столовую, спускаясь вниз по широкой каменной выходящей лестнице. Так и осталось пока неизвестным, кто вдруг громко свистнул в строю. Во всяком случае, на этот раз не он, не Александров. Но командир роты, капитан Яблукинский, сделал грубую ошибку. Ему бы следовало крикнуть: «Кто свистел?» – и тотчас же виновный отозвался бы: «Я, господин капитан!» Он же крикнул сверху злобно: «Опять Александров? Идите в карцер, и – без обеда». Александров остановился и прижался к перилам, чтобы не мешать движению роты. Когда же Яблукинский, спускавшийся вниз позади последнего ряда, поравнялся с ним, то Александров сказал тихо, но твердо:

– Господин капитан, это не я.

Яблукинский закричал:

– Молчать! Не возражать! Не разговаривать в строю. В карцер немедленно. А если не виноват, то был сто раз виноват и не попался. Вы позор роты (семиклассникам начальники говорили «вы») и всего корпуса!

Обиженный, злой, несчастный поплелся Александров в карцер. Во рту у него стало горько. Этот Яблукинский, по кадетскому прозвищу Шнапс, а чаще Пробка, всегда относился к

нему с подчеркнутым недоверием. Бог знает почему? потому ли, что ему просто было антипатично лицо Александрова, с резко выраженными татарскими чертами, или потому, что мальчишка, обладая непоседливым характером и пылкой изобретательностью, всегда был во главе разных предприятий, нарушающих тишину и порядок? Словом, весь старший возраст знал, что Пробка к Александрову придирается...

Довольно спокойно пришел юноша в карцер и сам себя посадил в одну из трех камер, за железную решетку, на голую дубовую нару, а карцерный дядька Круглов, не говоря ни слова, запер его на ключ.

Издалека донеслись до Александрова глухо и гармонично звуки предобеденной молитвы, которую пели все триста пятьдесят кадет:

«Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремение, отвержаючи щедрую руку Твою...» И Александров невольно повторял в мыслях давно знакомые слова. Есть перехотелось от волнения и от терпкого вкуса во рту.

После молитвы наступила полная тишина. Раздражение кадета не только не улеглось, но, наоборот, все возрастало. Он кружился в маленьком пространстве четырех квадратных шагов, и новые дикие и дерзкие мысли все более овладевали им.

«Ну да, может быть, сто, а может быть, и двести раз я бывал виноватым. Но когда спрашивали, я всегда признавался. Кто ударом кулака на пари разбил кафельную плиту в печке? Я. Кто накурил в уборной? Я. Кто выкрал в физическом кабинете кусок натрия и, бросив его в умывалку, наполнил весь этаж дымом и вонью? Я. Кто в постель дежурного офицера положил живую лягушку? Опять-таки я...

Несмотря на то что я быстро сознавался, меня ставили под лампу, сажали в карцер, ставили за обедом к барабанщику, оставляли без отпуска. Это, конечно, свинство. Но раз виноват – ничего не поделаешь, надо терпеть. И я покорно подчинялся глупому закону. Но вот сегодня я совсем ни на чуточку не виновен. Свистнул кто-то другой, а не я, а Яблукинский, «эта пробка», со злости накинулся на меня и осрамил перед всей ротой. Эта несправедливость невыносимо обидна. Не поверив мне, он как бы назвал меня лжецом. Он теперь во столько раз несправедлив, во сколько во все прежние разы бывал прав. И потому – конец. Не хочу сидеть в карцере. Не хочу и не буду. Вот не буду и не буду. Баста!»

Он ясно услышал послеобеденную молитву. Потом все роты с гулом и топотом стали расходиться по своим помещениям. Потом опять все затихло. Но семнадцатилетняя душа Александрова продолжала буйствовать с удвоенной силой.

«Почему я должен нести наказание, если я ни в чем не виноват? Что я Яблукинскому? Раб? Подданный? Крепостной? Слуга? Или его сопливый сын Валерка? Пусть мне скажут, что я кадет, то есть вроде солдата, и должен беспрекословно подчиняться приказаниям начальства без всякого рассуждения? Нет! я еще не солдат, я не принимал присяги. Выйдя из корпуса, многие кадеты по окончании курса держат экзамены в технические училища, в межевой институт, в лесную академию или в другое высшее училище, где не требуются латынь и греческий язык. Итак: я совсем ничем не связан с корпусом и могу его оставить в любую минуту».

Во рту у него пересохло и гортань горела.

– Круглов! – позвал он сторожа. – Отвори. Хочу в сортир.

Дядька отворил замок и выпустил кадета. Карцер был расположен в том же верхнем этаже, где и строевая рота. Уборная же была общая для карцера и для ротной спальни. Таково было временное устройство, пока карцер в подвальном этаже ремонтировался. Одна из обязанностей карцерного дядьки заключалась в том, чтобы, проводив арестованного в уборную, не отпуская его ни на шаг, зорко следить за тем, чтобы он никак не сообщался со свободными товарищами. Но едва только Александров приблизился к порогу спальни, как сразу помчался между серыми рядами кроватей.

– Куда, куда, куда? – беспомощно, совсем по-куриному закудахтал Круглов и побежал вслед. Но куда же ему было догнать?

Пробежав спальню и узкий шинельный коридорчик, Александров с разбега ворвался в дежурную комнату; она же была и учительской. Там сидели двое: дежурный поручик Михин, он же отделенный начальник Александрова, и пришедший на вечернюю репетицию для учеников, слабых по тригонометрии и по приложению алгебры, штатский учитель Отте, маленький, веселый человек, с корпусом Геркулеса и с жалкими ножками карлика.

– Что это такое? Что за безобразие? – закричал Михин. – Сейчас же вернитесь в карцер!

– Я не пойду, – сказал Александров неслышным ему самому голосом, и его нижняя губа затряслась. Он и сам в эту секунду не подозревал, что в его жилах закипает бешеная кровь татарских князей, неудержимых и неукротимых его предков с материнской стороны.

– В карцер! Немедленно в карцер! – взвизгнул Михин. – Ссию секунду!

– Не пойду и все тут.

– Какое же вы имеете право не повиноваться своему прямому начальнику?

Горячая волна хлынула Александрову в голову, и все в его глазах приятно порозовело. Он уперся твердым взором в круглые белые глаза Михина и сказал звонко:

– Такое право, что я больше не хочу учиться во втором московском корпусе, где со мною поступили так несправедливо. С этой минуты я больше не кадет, а свободный человек. Отпустите меня сейчас же домой, и я больше сюда не вернусь! ни за какие коврижки. У вас нет теперь никаких прав надо мною. И все тут!

В эту минуту Отте наклонил свою пышную волосатую с проседью голову к уху Михина и стал что-то шептать. Михин обернулся на дверь. Она была полуоткрыта, и десятки стриженных голов, сияющих глаз и разинутых ртов занимали весь прозор сверху донизу.

Михин побежал к дверям, широко распахнул их и закричал:

– Вам что надо? Чего вы здесь столпились? Марш по классам, заниматься! – И, захлопнув двери, он крикнул на Александрова: – А вы сию же минуту марш в карцер!

– А я вам сказал, что не пойду, и не пойду, – ответил кадет, наклоня голову, как бычок.

– Не пойдете? Силой потащат! Я сейчас же прикажу дядькам...

– Попробуйте, – сказал Александров, раздувая ноздри.

Но тут Отте, вежливо положив руку на руку Михина, сказал вполголоса:

– Господин поручик, позвольте мне сказать два-три слова этому взволнованному юноше.

– Ах да, пожалуйста! хоть тридцать, хоть двести слов. Черт возьми, что за безобразие!

И как раз на моем дежурстве!

Отте начал очень спокойно:

– Милый юноша, сколько вам лет?

– А вам не все ли равно? – дерзко огрызнулся Александров. – Ну, семнадцать...

– Конечно, мне все равно, – продолжал учитель. – Но я вам должен сказать, что в возрасте семнадцати лет молодой человек не имеет почти никаких личных и общественных прав. Он не может вступать в брак. Векселя, им подписанные, ни во что не считаются. И даже в солдаты он не годится: требуется восемнадцатилетний возраст. В вашем же положении вы находитесь на попечении родителей, родственников, или опекунов, или какого-нибудь общественного учреждения.

– Ну так что ж? – упрямо перебил его Александров.

– Да только и всего, – равнодушно ответил Отте. – Только и всего, что весь вопрос в том, кто определил вас в корпус.

– Моя мама. Но...

– И никакого «но», – возразил учитель. – Только с разрешения вашей матушки вы можете покинуть корпус, да еще в такое неурочное время. Откровенно, по-дружески, советую вам переждать эту ночь. Утро дает совет – как говорят мудрые французы.

– Ах, да что с ним церемониться? – нетерпеливо воскликнул Михин. – Дядька! Иди сюда!

Умные и участливые слова Отте уже привели было Александрова в мирное настроение, но грубый окрик Михина снова взорвал в нем пороховой погреб. Да и надо сказать, что в эту пору Александров был усердным читателем Дюма, Шиллера, Вальтер Скотта. Он ответил грубо и, невольно, театрально:

– Зовите хоть тысячу ваших дядек, я буду с ними драться до тех пор, пока я не выйду из вашего проклятого застенка. А начну я с того...

Но тут широкая ладонь Отте мягко зажала ему рот, и он едва успел встряхнуть головой.

– Тише, мальчишка! – крикнул ласково и повелительно Отте. – Помолчи немножко. Господин поручик, – обратился он к Михину, – это не он, а его дурацкий переломный возраст скандалит. Дайте мальчику успокоиться, и все пройдет. Ведь все мы переживали этот козлиный период.

– Покорно благодарю вас, Эмилий Францевич, – от души сказал Александров. – Но я все-таки сегодня уйду из корпуса. Муж моей старшей сестры – управляющий гостиницы Фальц-Фейна, что на Тверской улице, угол Газетного. На прошлой неделе он говорил со мною по телефону. Пускай бы он сейчас же поехал к моей маме и сказал бы ей, чтобы она как можно скорее приехала сюда и захватила бы с собою какое-нибудь штатское платье. А я добровольно пойду в карцер и буду ждать.

Он низко поклонился Отте и сказал:

– Еще раз покорно благодарю вас, Эмилий Францевич. Не можете ли вы попросить за меня, чтобы меня не запирали на ключ. Ей-богу, я не убегу.

– Ах, боже мой! – вскричал Михин, ударив себя по лбу. – У меня голова трещит от этих безобразий! Ну, пускай не запирают. Мне все равно.

Но Александрова в эту секунду дернул черт. Он указал пальцем на Михина и спросил у Отте:

– Вы можете поручиться в том, что меня не запрут?

– Да, могу, могу, – тебя не запрут. Иди с богом, – замахал на него руками Отте. – Иди скорее, бесстыдник. Ну и характер же!

Александрова сопровождал в карцер старый, еще с первого класса знакомый, дядька Четуха (настоящее его имя было Пиотух). Сдавши кадета Круглову, он сказал:

– Велено не запирать на ключ. – И, помолчав немного, прибавил: – Ну и чертенок же!

Александров принял это за комплимент.

Потянулись секунды, минуты и часы, бесконечные часы. Александрову принесли чай – сбитень и булку с маслом, но он отказался и отдал Круглову.

Гораздо позднее узнал мальчик причины внимания к нему начальства. Как только строевая рота вернулась с обеда и весть об аресте Александрова разнеслась в ней, то к капитану Яблукинскому быстро явился кадет Жданов и под честным словом сказал, что это он, а не Александров, свистнул в строю. А свистнул только потому, что лишь сегодня научился свистать при помощи двух пальцев, вложенных в рот, и по дороге в столовую не мог удержаться от маленькой репетиции.

А, кроме того, вся строевая рота была недовольна несправедливым наказанием Александрова и глухо волновалась. У начальства же был еще жив и свеж в памяти бунт соседнего четвертого корпуса. Начался он из-за пустяков, по поводу жуликоватого эконома и плохой пищи. Явление обыкновенное. Во втором корпусе боролись с ним очень просто, домашними средствами. Так, например, зачастил однажды эконома каждый день на завтрак кулебяки с рисом. Это кушанье всем надоело, жаловались, бросали кулебяки на пол. Эконом не уступал. Наконец – строевая рота на приветствие директора: «Здравствуйте, кадеты», начала упорно отвечать вместо «здравия желаем, ваше превосходительство» – «здравия желаем, кулебяки с рисом». Это подействовало. Кулебяка с рисом прекратилась, и ссора окончилась мирно.

В четвертом же корпусе благодаря неумелому нажиму начальства это мальчишеское недовольство обратилось в злое массовое восстание. Были разбиты рамы, растерзали на куски библиотечные книги. Пришлось вызвать солдат. Бунт был прекращен. Один из зачинщиков, Салтанов, был отдан в солдаты. Многие мальчишки были выгнаны из корпуса на волю божью. И правда: с народом и с мальчишками перекручивать нельзя...

Уже смеркалось, когда пришел тот же Четуха.

– Барчук, – сказал он (действительно, он так и сказал – барчук), – ваша маменька к вам приехали. Ждут около церкви, на паперти.

На церковной паперти было темно. Шел свет снизу из парадной прихожей; за матовым стеклом церкви чуть брезжил красный огонек лампадки. На скамейке у окна сидело трое человек. В полутьме Александров не узнал сразу, кто сидит. Навстречу ему поднялся и вышел его зять, Иван Александрович Мажанов, муж его старшей сестры, Сони. Александров пригнул, назвав его управляющим гостиницы Фальц-Фейна. Он был всего только конторщиком. Ленивый, сонный, всегда с разинутым ртом, бледный, с желтыми катышками на ресницах. Его единственное чтение была – шестая книга дворянских родов, где значилась и его фамилия. Мать Александрова, и сам Александров, и младшая сестра Зина, и ее муж, добродушный лесничий Нат, терпеть не могли этого человека. Кажется, и Соня его ненавидела, но из гордости молчала. Он как-то пришелся не к дому. Вся семья, по какому-то инстинкту брезгливости, сторонилась от него, хотя мама всегда одергивала Алешу, когда он начинал в глаза Мажанову имитировать его любимые, привычные словечки: «так сказать», «дело в том, что», «принципиально» и еще «с точки зрения».

Подойдя к Александрову, он так и начал:

– Дело в том, что...

Александров едва пожал его холодную и мокрую руку и сказал:

– Благодарю вас, Иван Александрович.

– Дело в том, что... – повторил Мажанов. – С принципиальной точки зрения...

Но тут встала со скамейки и быстро приблизилась другая тень. С трепетом и ужасом узнал в ней Александров свою мать, свою обожаемую маму. Узнал по ее легкому, сухому кашлю, по мелкому стуку башмаков-недомерок.

– Иван Александрович, – сказала она, – вы спуститесь-ка вниз и подождите меня в прихожей.

– Дело в том, что... – сказал Мажанов и, слава богу, ушел.

– Алеша, мой Алешенька, – говорила мать, – когда же придет конец твоим глупым выходкам? Ну, убежал ты из Разумовского училища, осрамил меня на всю Москву, в газетах даже пропечатали. С тех пор как тебе стало четыре года, я покоя от тебя не знаю. В Зоологический сад лазил без билетов, через пруд. Мокрого и грязного тебя ко мне привели за уши. Архиерею не хотел руку поцеловать, сказал, что воняет. А как еще ты князя Кудашева обидел. Смотрел, смотрел на него и брякнул: «Ты князь?» – «Я князь». – «Ты, должно быть, из Наровчата?» – «Да, откуда ты, свиненок, узнал?» – «Да просто: у тебя руки грязные». Легко ли мне было это перетерпеть. А кто извозчику под колеса попал? А кто...

Отношения между Александровым и его матерью были совсем необыкновенными. Они обожали друг друга (Алеша был последышем). Но одинаково, по-азиатски, были жестоки, упрямы и нетерпеливы в ссоре. Однако понимали друг друга на расстоянии.

– Ты все знаешь, мама?

– Все.

– Ну а как же этот дурак?..

– Алеша!

– Как этот болван осмелился заподозрить меня во лжи или трусости?

– Алеша, мы не одни... Ведь капитан Яблукинский твой начальник!

– Да. А не ты ли мне говорила, что когда к нам приезжало начальство – исправник, – то его сначала драли на конюшне, а потом поили водкой и совали ему сторубливку?

– Алеша, Алеша!

– Да, я Алеша... – И тут Александров вдруг умолк. Третья тень поднялась со скамейки и приблизилась к нему. Это был отец Михаил, учитель закона божьего и священник корпусной церкви, маленький, седенький, трогательно похожий на святого Николая-угодника.

Александров вздрогнул.

– Дети мои, – сказал мягко отец Михаил, – вы, я вижу, друг с другом никогда не договоритесь. Ты помолчи, ерш ершович, а вы, Любовь Алексеевна, будьте добры, пройдите в столовую. Я вас задержу всего на пять минут, а потом вы выкушаете у меня чая. И я вас провожу...

Тяжеловато было Александрову оставаться с батюшкой Михаилом. Священник обнял мальчика, и долгое время они ходили туда и назад по паперти. Отец Михаил говорил простые, но емкие слова.

– Твоя мамаша – прекрасная мамаша. У меня тоже была мать, и я так же огорчал нередко, как и ты огорчил сейчас свою мамочку. Ну, что же? Ты был прав, а он не прав. Но твоя совесть безукоризненна, а он вспомнит однажды ночью случай с тобой и покраснеет от стыда. И потом, смотри – как огорчена мамаша! Что тебе стоит окончить корпус? По крайней мере диплом. А ей сладко. Сынок вышел в люди. А ты потом иди туда, куда тебе понравится. Жизнь, милый Алеша, очень многообразна, и еще много неприятностей ты причинишь материнскому сердцу. А знай, что первое слово, которое выговаривает человеческий язык, это – слово «мама». И когда солдат, раненный насмерть, умирает, то последнее его слово – «мама». Ты все понял, что я тебе сказал?

– Да, батюшка, я все понял, – сказал с охотной покорностью Александров. – Только я у него извинения не буду просить.

Священник мягко рассмеялся.

– Да и не надо, дурачок. Совсем не надо.

И не так увещания отца Михаила тронули ожесточенное сердце Александрова, как его личные точные воспоминания, пришедшие вдруг толпой. Вспомнил он, как исповедовался в своих невинных грехах отцу Михаилу, и тот вздыхал вместе с ним и покрывал его епитрахилью, от которой так уютно пахло воском и теплым ладаном, и его разрешительные слова: «Аз иерей недостойный, разрешаю...» и так далее. Вспомнил еще (как бывший певчий) первую неделю Андреева стояния. В домашнем подрясничке, в полутьме церкви говорил отец Михаил трогательные слова из канона преподобного Андрея Критского:

«Откуда начну плакати жития моих окаянных деяний? Кое положу начало, Спасе, нынешнему рыданию».

И хор и вместе с ним Александров, второй тенор, отвечали:

«Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

– А теперь, – сказал священник, – стань-ка на колени и помолись. Так тебе легче будет. И мой совет – иди в карцер. Там тебя ждут котлеты. Прощай, ерш ершович. А я поведу твою маму чай пить.

И неслыханная в корпусной истории вещь: Александров нагнулся и поцеловал руку отца Михаила.

Глава II Прощание

Проходя желтыми воротами, Александров подумал: «А не зайти ли к батюшке Михаилу за благословением. Новая жизнь начинается, взрослая, серьезная и суровая. Кто же поддержал ласковой рукой бестолкового кадета, когда он, обезумев, катился в пропасть, как не этот

маленький, похожий на Николая-угодника священник, такой трогательно-усталый на великопостных повечериях, такой терпеливый, когда ему предлагали на уроках ядовитые вопросы: „Батюшка, как же это? Ведь Бог всеведущ и всемогущ. Он за тысячу, за миллион лет знал, что Адам и Ева согрешат, и, стало быть, они не могли не согрешить. Отчего же Он не мог уберечь их от этого поступка, если Он всемогущ? И тогда какой же смысл в их изгнании и в несчастиях всего человечества?“

На это отец Михаил четко, сухо и пространно принимается говорить о свободной воле и, наконец, видя, что схоластика плохо доходит до молодых умов, сделал кроткое заключение:

– А вы поусерднее молитесь Богу и не мудрствуйте лукаво.

На сердце Александрова сделалось тепло и мягко, как когда-то под бабушкиной заячьей шубкой.

Стоя перед казармой, он несколько минут колебался: идти? не идти? Но какая-то дикая застенчивость, боязнь показаться навязчивым – преодолели, и Александров пошел дальше. Эти чувства нежной благодарности и уютной доброты, связанные с личностью отца Михаила, никогда не забудутся сердцем Александрова. Через четырнадцать лет, уже оставив военную службу, уже женившись, уже приобретая большую известность как художник-портретист, он во дни тяжелой душевной тревоги приедет, сам не зная зачем, из Петербурга в Москву, и там неведомый, темный, но мощный инстинкт властно потянет его в Лефортово, в облупленную желтую николаевскую казарму, к отцу Михаилу. Его введут в крошечный кабинет, еле освещенный керосиновой лампой под синим абажуром. Навстречу ему подыметесь отец Михаил в коричневой ряске, совсем крошечный и сгорбленный, подобно Серафиму Саровскому, уже не седой, а зеленоватый, видимо немного обеспокоенный появлением у него штатского, то есть человека из совсем другого, давно забытого, непривычного, невоенного мира.

– Чем могу служить? – спросит он вежливо и суховато, шуря, по старой, милой, давно знакомой Александрову привычке, подслеповатые глаза.

Александров назовет свое имя и год выпуска, но священник только покачает головою с жалостным видом.

– Не помню. Простите, никак не могу вспомнить. Ведь сколько лет, сколько, сколько сотен имен... Трудно все помнить...

Тогда Александров, волнуясь и торопясь, и чувствуя, с невольной досадой, что его слова гораздо грубее и невыразительнее его душевных ощущений, рассказал о своем бунте, об увещании на темной паперти, об огорчении матери и о том, как была смягчена, стерта злобная воля мальчугана. Отец Михаил тихо слушал, слегка кивая, точно в такт рассказу, и почти неслышно приговаривал:

– Так, так, так. Так, так.

Когда же Александров окончил, батюшка спросил:

– А чем же вы теперь, господин, изволите заниматься?

– Я художник, живописец. Главным образом пишу портреты маслом. Может быть, слышали когда-нибудь: художник Александров?

– Признаться, не довелось слышать, не довелось. Мы ведь в корпусе, как в монастыре. Ну, что же? Живопись – дело благое, если Бог сподобил талантом. Вон святой апостол Лука. Чудесно писал иконы Божией Матери. Прекрасное дело.

Потом, точно снова встревожась, он спросил:

– А что же вам, господин, от меня требуется?

– Да ничего, батюшка, – ответил, слегка опечалась, Александров. – Ничего особенного. Потянуло меня, батюшка, к вам, по памяти прежних лет. Очень тоскую я теперь. Прошу, благословите меня, старого ученика вашего. Восемь лет у вас исповедовался.

Священник ласково улыбнулся, съезжил лицо, ставшее необыкновенно милым.

– Значит, в каком-то классе зазимовали?

– В шестом. И пять лет пел на клиросе. Благословите, отец Михаил.

– Бог благословит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

Александров поцеловал сухонькую маленькую косточку, и душа его умякла.

– До свидания, батюшка. Простите, что побеспокоил.

– Ничего, дорогой мой, ничего... И меня простите, что не узнаю вас. Дело мое старое. Шестьдесят пятый год идет... Много времени утекло...

Идет юный Александров по знакомым, старинным местам мимо первого корпуса, над большим красным зданием которого висит огромный навес. Тронная зала, построенная Лефортом в честь Петра, в которой по ночам бродили призраки; мимо старинных потешных укреплений с высокими валами и глубокими рвами. Там крутой спуск к пруду: зимой из него делали славную ледяную гору. Вот первый плац – он огорожен от дороги густой изгородью желтой акации, цветы которой очень вкусно было есть весной, и ели их целыми шапками. Впрочем, охотно ели всякую растительную гадость, инстинктивно заменяя ею недостаток овощной пищи. Ели молочай, благородный щавель, и какие-то просвирки, дудки дикого тмина, и, в особенности, похожие на редьку корни свербиги, или свергибуса, или, вернее, сурепицы. Чтобы есть эти горьковатые корни с лучшим аппетитом, приносили с собою от завтрака ломоть хлеба и щепотку соли, завернутой в бумажку.

Вот второй плац, отделенный рядом старых, высоченных, бальзамических тополей. Как удивительно благоухали в пору экзаменов их липкие блестящие листья и клейкие темные почки! На втором плацу играли в лапту, в городки, в зук, в чехарду и особенно в запрещенную игру – в «кучки», – которая очень часто кончалась переломами и вывихами рук и ног. На этой же площадке пели весенними вечерами свои собственные песни, передававшиеся из поколения в поколение и часто не совсем цензурные. Отсюда же переругивались, состязаясь в мастерстве брани, с соседями, через забор, учениками фельдшерской школы, которых звали клистирными трубками и рвотным порошком.

За калиткой – третий плац, строевой, необыкновенной величины. Он тянется от корпуса до Анненгофской рощи, где вдали красное здание острога и городская свалка. За Анненгофскую рощу удирали отчаянные храбрецы ранней весной, чтобы выкупаться в студеной воде узенькой речушки Синички и выскочить из нее, посинев от холода, лязгая зубами и трясясь всеми суставами. У калитки, весной, всегда останавливается разносчик Егорка с тирольскими пирожками (пять копеек пара), похожими видом на куски черного хлеба, очень тяжелыми и сытными. Здесь же, у калитки, на утренней прогулке, семиклассники дожидались проезда ежедневного дилижанса, в котором, вдоль, слева и справа, сидели премиленькие девочки разных возрастов и в разных костюмах. Это – местные лефортовские ученицы ездили в город, в гимназию госпожи Перепелкиной, отчего и их самих коротко и ласково называли «перепелками». Немножко кокетничать с ними – это была неотъемлемая и строго охраняемая привилегия седьмого класса. Когда дилижанс равнялся с калиткой, то в него летели скромные дары: крошечные букетики лютиков, вероники, иван-да-марьи, желтых одуванчиков, желтой акации, а иногда даже фиалок, набранных в соседнем ботаническом саду с опасностью быть пойманным и оставленным без третьего блюда. Бросались иногда и стишки в бумажке, сложенной петушком:

Лишь только Феб осветит елки,
Как уж проснулись перепелки,
Спешат, прекрасные, спешат.
На нас красотки не глядят.
А мы, отвергнутые, млеем,
Дрожим и даже пламенеем...

Быстрым зорким взором обегает Александров все места и предметы, так близко прилепившиеся к нему за восемь лет. Все, что он видит, кажется ему почему-то в очень уменьшенном и очень четком виде, как будто бы он смотрит через обратную сторону бинокля. Задумчивая и сладковатая грусть в его сердце. Вот было все это. Было долго-долго, а теперь отошло навсегда, отпало. Отпало, но не отболело, не отмерло. Значительная часть души остается здесь, так же как она остается навсегда в памяти.

Как много прошло времени в этих стенах и на этих зеленых площадках: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как долго считать, а ведь это – годы. Что же жизнь? Очень ли она длинна, или очень коротка?

Все вечный вопрос. Настанет минута, когда бессонною ночью Александров начнет считать до пятидесяти четырех и, не досчитав, лениво остановится на сорока. «Зачем думать о пустяках?»

Глава III

Юлия

По «черному» крыльцу входит Александров в полутемную прихожую, где всегда раздевались приезжавшие учителя. Встречает его древний, седой в прозелень, весь какой-то обомшелый будничный швейцар по кличке Сова.

– Здравия желаю, господин юнкер, – сипит он астматическим махорочным голосом.

Александров еще в кадетской форме; ему еще довольно далеко до настоящего юнкера, но так лестно звучит это гордое звание, что рука невольно тянется в карман за последним, единственным гривенником.

– Пожалуйте в лазаретную приемную, – говорит Сова. – Там приказано собраться всем отпусчным.

Александров идет в лазарет по длинным, столь давно знакомым рекреационным залам; их полы только что натерты и знакомо пахнут мастикой, желтым воском и крепким, терпким, но все-таки приятным потом полотеров. Никакие внешние впечатления не действуют на Александра с такой силой и так тесно не соединяются в его памяти с местами и событиями, как запахи. С нынешнего дня и до конца жизни память о корпусе и запах мастики останутся для него неразрывными.

Уже восьмой раз в своей жизни испытывает Александров заранее то волнение, которое всегда овладевало им при новой встрече с близкими одноклассниками после полутора месяцев летнего отпуска. Как сладко рассказывать и как интересно слушать о бесконечно разнообразных летних впечатлениях! Тут все ново и увлекательно. Один целое лето ловил шук на жерлицу, на блесну и на огонь, острогою. Другому подарили лошадь, и он верхом травил зайцев с борзыми. У третьего в имении его родителей археологи разрыли древний могильник и нашли там много костей, древней утвари, орудия и золотых украшений, которые от времени и пребывания в земле покрылись зеленою ярью. Четвертый был свидетелем большого лесного пожара и того, как убивали бешеную собаку. Следующий говорил гордо о том, как ему шурин Стася, Великий Охотник, подарил настоящую двустволку; правда – шомпольную, но знаменитого завода «Гастин-Ренетт». Таких редких ружей осталось во всем мире всего только, может быть, пять или шесть. Счастливый обладатель этого сокровища не расставался с ним ни на минуту и даже, ложась спать, укладывал его с собою в постель. А какие были купанья! Особенно на утренней заре, когда розовая вода так холодна и так до дрожи сильно и радостно пахнет. Какие злые, щипучие были черные в зелень раки! А березовая роща с грибами, черникой, брусникой и гонобобом! А сосновый лес, где рыжики, и ароматная дикая малина, и белки, и ежевика, и сами ежи, колючие недотроги! А кроткие домашние животные и зверюшки!

Эти разговоры велись обыкновенно вечером, в полутемной спальней, на чьей-нибудь койке. Они на много-много дней скрашивали монотонное однообразие жизни в казенном закрытом училище, и была в них чудесная и чистая прелесть, вновь переживать летние впечатления, которые *тогда* протекали совсем не замечаемые, совсем не ценимые, а теперь как будто по волшебству встают в памяти в таком радостном, блаженном сиянии, что сердце нежно сжимается от тихого томления и впервые крадется смутно в голову печальная мысль: «Неужели все в жизни проходит и никогда не возвращается?»

Есть и у Александрова множество летних воспоминаний, ярких, пестрых и благоуханных; вернее – их набрался целый чемодан, до того туго, туго набитый, что он вот-вот готов лопнуть, если Александров не поделится со старыми товарищами слишком грузным багажом... Милая потребность юношеских душ!

И на прекрасном фоне золотого солнца, голубых небес, зеленых рощ и садов – всегда на первом плане, всегда на главном месте *она*; непостижимая, недостижимая, несравненная, единственная, восхитительная, головокружительная – Юлия.

Но Юлия, это – только человеческое имя. Мало ли Юлий на свете. Вот даже есть в обиходе такой легонький стишок:

Хожу ли я, брожу ли я,
Все Юлия да Юлия.

Правда, Александров, немножко балующий стишками, пробовал иногда расцветить, углубить это двухстрочие:

В июне и в июле я
Влюблен в тебя, о Юлия!

На зов твой не бегу ли я
Быстрее пули, Юлия?

И описать смогу ли я
Красы твои, о Юлия!

И так далее, и так далее...

Но чего стоят вялые и беспомощные стишки? И настоящее имя ее совсем не Юлия, а скорее Геба, Гера, Юнона, Церера или другое величественное имя из древней мифологии.

Она высока ростом: на полголовы выше Александрова. Она полна, движения ее неторопливы и горды. Лицо ее кажется Александрову античным. Влажные большие темные глаза и темнота нижних век заставляют Александрова применять к ней мысленно гомеровский эпитет: «волоокая».

На дачном танцевальном кругу, в Химках, под Москвою, он был ее постоянным кавалером в вальсе, польке, мазурке и кадрили, уделяя, впрочем, немного благосклонного внимания и ее младшим сестрам, Ольге и Любе. Александров отлично знал о своей некрасивости и никогда в этом смысле не позволял себе ни заблуждений, ни мечтаний; но еще с большей уверенностью он не только знал, но и чувствовал, что танцует он хорошо: ловко, красиво и весело.

Ах! Однажды его великая летняя любовь в Химках была омрачена и пронзена зловещим подозрением: с горем и со стыдом он вдруг подумал, что Юленька смотрит на него только как на мальчика, как на желторотого кадетика, еще даже не юнкера, что кокетничает она с ним только от дачного «нечего делать» и что если она в нем что-нибудь и ценит, то только свое

удобство танцевать с постоянным партнером, неутомимым, ловким и находчивым; с чем-то вроде механического манекена.

Со жгучей злобой, не потерявшей свежести даже и теперь, вспоминает Александров этот тяжелый момент.

В семье трех сестер Синельниковых, на даче, собиралось ежедневно множество безусой молодежи, лет так от семнадцати и до двадцати: кадеты, гимназисты, реалисты, первокурсники-студенты, ученики консерватории и школы живописи и ваяния и другие. Пели, танцевали под пианино, в *petits jeux*¹ и в каком-то круговоротном беспорядке влюблялись то в Юленьку, то в Оленьку, то в Любочку. И всегда там хохотали.

Приходил постоянно на эти невинные забавы некто господин Покорни. Сверстникам Александрова он казался стариком, хотя вряд ли ему было больше тридцати пяти лет: таков уж условный масштаб юности. Надо сказать, что в этой молодой и веселой компании господин Покорни был не только не нужен, но, пожалуй, даже и тяжел. Он был длинен, как жираф; гораздо выше Юленьки, и когда танцевал, то беспрестанно бил свою даму острыми коленками. Он не умел смеяться и часто грыз в молчании ногти. Если в «почте» его спрашивали: «А ваша корреспонденция?» – он отвечал: «Да я не знаю, что написать». Вообще он наводил уныние. Про него знали только то, что у него в Москве большой магазин фотографических принадлежностей. И был он вместе с бесцветным лицом, с фигурой и костюмом весь в продольных и вертикальных морщинах.

В Троицын день на Химкинском кругу был назначен пышный бал – *gala*. Военный оркестр из Москвы и удвоенное количество лампионов. После третьей кадрили заиграли ритурнель к вальсу. Александров разыскал Юленьку. Она сидела на скамейке одна и перебирала складки своего веера. Александров подбежал и низко поклонился, приглашая ее на танец. Она уже привстала, но откуда-то вдруг просунулся долговязый Покорни, изогнувшись над Александровым, протянул руку Оленьке. И она – о, ужас! – отвернулась от юноши и положила руку на плечо жирафа.

– Позвольте, – сдержанно, но гневно воскликнул Александров. – Послушайте!

Но Юленька и Покорни уже вертелись – благодаря косолапому кавалеру не в такт.

У Александрова так горько стало во рту от злобы, точно он проглотил без воды целую ложку хинина.

Чтобы не быть узнанным, он сошел с танцевального круга и пробрался вдоль низенького забора, за которым стояли бесплатные созерцатели роскошного бала, стараясь стать против того места, где раньше сидела Юленька. Вскоре вальс окончился. Они прошли на прежнее место. Юленька села. Покорни стоял, согнувшись над нею, как длинный крючок. Он что-то бубнил однообразным и недовольным голосом, как будто бы он шел не из горла, а из живота.

«Точно чревовещатель, – подумал Александров. – Должно быть, у всех подлецов такие противные голоса».

Юленька молчала, нервно распуская и сжимая свой веер. Потом она очень громко сказала:

– Сто раз я вам говорила – нет. И значит – нет. Проводите меня к тамап. Нужно всегда думать о том, что делаешь.

Александров густо покраснел в темноте.

– Боже мой, неужели я подслушиваю!

Еще долго не выходил он из своей засады. Остаток бала тянулся, казалось, бесконечно. Ночь холодела и сырела. Духовая музыка надоела; турецкий барабан стучал по голове с раздражающей ритмичностью. Круглые стеклянные фонари светили тусклее. Висячие гирлянды

¹ Салонные игры (*фр.*).

из дубовых и липовых веток опустили беспомощно свои листья, и от них шел нежный, горьковатый аромат увядания. Александрову очень хотелось пить, и у него пересохло в горле.

Наконец-то Синельниковы собрались уходить. Их провожали: Покорни и маленький Панков, юный ученик консерватории, милый, белокурый, веселый мальчуган, который сочинял презабавную музыку к стихам Козьмы Пруткова и к другим юмористическим вещицам. Александров пошел осторожно за ними, стараясь держаться на таком расстоянии, чтобы не слышать их голосов.

Он слышал, как все они вошли в знакомую, канареечного цвета дачу, которая как-то особенно, по-домашнему, приютилась между двух тополей. Ночь была темная, беззвездная и росистая. Туман увлажнял лицо.

Вскоре мужчины вышли и у крыльца разошлись в разные стороны. Погас огонек лампы в дачном окне: ночь стала еще чернее.

Александров ничего не видел, но он слышал редкие шаги Покорни и шел за ними. Сердце у него билось-билось, но не от страха, а от опасения, что у него выйдет неудачно, может быть даже смешно.

Не доходя до лаун-теннисной площадки, он мгновенно решил. Слегка откашлялся и крикнул:

– Господин Покорни!

Голос у него из-за тумана прозвучал глухо и плоско. Он крикнул громче:

– Господин Покорни!

Шаги Покорни стихли. Послышался из темноты точно придушенный голос:

– Кто такой? Что нужно?

Александров сделал несколько шагов к нему и крикнул:

– Подождите меня. Мне нужно сказать вам несколько слов.

– Какие такие слова? Да еще ночью?

Александров и сам не знал, какие слова он скажет, но шел вперед. В это время ущербленный и точно заспанный месяц продрался и выкатился сквозь тяжелые громоздкие облака, осветив их сугробы грязно-белым и густо-фиолетовым светом. В десяти шагах перед собою Александров смутно увидел в тумане неестественно длинную и худую фигуру Покорни, который, вместо того чтобы дожидаться, пятился назад и говорил преувеличенно громко и торопливо:

– Кто вы такой? Что вам от меня надо, черт возьми?

Голос у него вздрагивал, и это сразу ободрило юношу. Давид снова сделал два шага к Голиафу.

– Я – Александров. Алексей Николаевич Александров. Вы меня знаете.

Тот ответил с принужденной грубостью:

– Никого я не знаю и знать не хочу всякую дрянь.

Но Александров продолжал наступать на пятившегося врага.

– Не знаете, так сейчас узнаете. Сегодня на кругу вы позволили себе нанести мне тяжелое оскорбление... в присутствии дамы. Я требую, чтобы вы немедленно принесли мне извинение, или...

– Что или? – как-то по-заячьи жалобно закричал Покорни.

– Или вы дадите мне завтра же удовлетворение с оружием в руках!

Вызов вышел эффектно. Какого рода оружие имел в виду кадет – а через неделю юнкер Александров, – так и осталось его тайной, но боевая фраза произвела поразительное действие.

– Мальчишка! щенок! – завизжал Покорни. – Молоко на губах не обсохло! За уши тебя драть, сопляка! Розгой тебя!

Всю эту ругань он выпалил с необычайной быстротой, не более чем в две секунды. Александров вдруг почувствовал, что по спине у него забегали холодные щекотливые мурашки и как-то весело потеплело темя его головы от опьяняющего предчувствия драки.

– Казенная шкура! – гавкнул Покорни напоследок.

Но тут произошло нечто совершенно неожиданное: сжав кулаки до боли, видя красные круги перед глазами, напрягая все мускулы крепкого, почти восемнадцатилетнего тела, Александров уже ринулся с криком: «Подлец», на своего врага, но вдруг остановился, как от мгновенного удара.

Покорни, удивительно быстро повернувшись, кинулся изо всех сил в бегство. Некто, там наверху заведующий небесными световыми эффектами, пустил вдруг всю лунный прожектор, и глазам Александрова внезапно предстало изумительнейшее зрелище. Давным-давно, еще будучи мальчиком, он видал в иллюстрациях к Жюль Верну страуса, мчащегося в легкой упряжке, и жирафа, который обгоняет курьерский поезд. Вот именно таким размашистым аллюром удирал с поля чести ничтожный Покорни. Александров кинулся было его догонять, но вскоре убедился в том, что это не в силах человеческих. «Не швырнуть ли камнем в его спину? – Нет. Это будет низко». Так и бежал он потихоньку за Покорни, пока тот не остановился у своей дачи и не открыл входную дверь.

– Трус, хам и трижды подлец! – крикнул ему вслед Александров.

– А ты сволочь! – ответил Покорни, и дверь громко хлопнула.

Четыре дня не появлялся Александров у Синельниковых, а ведь раньше бывал у них по два, по три раза в день, забегая домой только на минуточку, пообедать и поужинать. Сладкие терзания томили его душу: горячая любовь, конечно, такая, какую не испытывал еще ни один человек с сотворения мира; зеленая ревность, тоска в разлуке с обожаемой, давняя обида на предпочтение... По ночам же он простаивал часами под двумя тополями, глядя в окно возлюбленной.

На пятый день добрый друг, музыкант Панков, влюбленный – все это знали – в младшую из Синельниковых, в лукавоглазую Любу, пришел к нему и в качестве строго доверенного лица принес запечатанную записочку от Юлии.

«Милый Алеша (это впервые, что она назвала его уменьшительным именем). Зачем вы, ненавидя своего врага, делаете несчастными ваших искренних друзей. Приходите к нам по-прежнему. *Его теперь нет* и, надеюсь, больше никогда не будет. А мне без вас так ску-у-чно.

Ваша Ю.

Ц.»

Минут десять размышлял Александров о том, что могла бы означать эта буква Ц., поставленная в самом конце письма так отдельно и таинственно. Наконец он решился обратиться за помощью в разгадке к верному белокурому Панкову, явившемуся сегодня вестником такой великой радости.

Панков поглядел на букву, потом прямо в глаза Александрову и сказал спокойно:

– Ц. – это значит – целую, вот и все.

В тот же день влюбленный молодой человек открыл, что таинственная буква Ц. познается не только зрением и слухом, но и осязанием. Достоверность этого открытия он проверил впоследствии раз сто, а может быть, и больше, но об этом он не расскажет даже самому лучшему, самому вернейшему другу.

Глава IV

Бесконечный день

В лазаретной приемной уже собрались выпускные кадеты. Александров пришел последним. Его невольно и как-то печально поразило: какая малая кучка сверстников собралась в голубой просторной комнате, – пятнадцать-двадцать человек, не больше, а на последних экзаменах их было тридцать шесть. Только спустя несколько минут он сообразил, что иные, не выдержавши выпускных испытаний, остались в старшем классе на второй год; другие были забракованы, признанные по состоянию здоровья негодными к несению военной службы; следующие пошли: кто побогаче – в Николаевское кавалерийское училище; кто имел родню в Петербурге – в пехотные петербургские училища; первые ученики, сильные по математике, избрали привилегированные карьеры инженеров или артиллеристов; здесь необходимы были и протекция и строгий дополнительный экзамен.

Почему-то жалко стало Александрову, что вот расстроилось, расклеилось, распаталось крепкое дружеское гнездо. Смутно начинал он понимать, что лишь до семнадцати, восемнадцати лет мила, светла и бескорыстна юношеская дружба, а там охладает тепло общего тесного гнезда, и каждый брат уже идет в свою сторону, покорный собственным влечениям и велению судьбы.

Пришел доктор Криштафович и с ним корпусный фельдшер Семен Изотыч Макаров. Фельдшера кадеты прозвали «Семен Затыч», или иначе «клистирная трубка». Его не любили за его непреклонность. Нередко случалось, что кадет, которому до истомы надоела ежедневная зубрежка, разрешал сам себе день отдыха в лазарете. Для этого на утреннем медицинском обходе он заявлял, что его почему-то бросает то в жар, то в холод, а голова у него и болит и кружится, и он сам не знает, почему это с ним делается. Его отсылали вниз, в лазарет. Всем были известны способы, как довести температуру тела до желанных предельных 37,6 градусов. Но злодейский фельдшер Макаров, ставивший градусник, знал все кадетские фокусы и уловки, и никакое фальшивое обращение с градусником не укрывалось от его зорких глаз. Но дальше бывало еще хуже. Все, признанные больными, все равно, какая бы болезнь у них ни оказалась, – неизбежно перед ванной должны были принять по стаканчику касторового масла. Этим делом заведовал сам Макаров, и ни просьбы, ни посулы, ни лесть, ни упреки, ни даже бунт не могли повлиять на его твердокаменное сердце. Зеленого стекла толстостенный стакан, на дне чуть-чуть воды, а выше, до краев, желтоватое густое ужасное масло. Кусок черного хлеба густо посыпан крупной солью. Это – роковая закуска. Последний вздох, страшное усилие над собою. Нос зажат, глаза зажмурены.

– Э, нет. До конца, до конца! – кричит проклятый Макаров... Гнусное воспоминание...

Но бывали редкие случаи, когда Изотычу прощалось его холодное коварство. Это бывало тогда, когда удавалось его затащить в гимнастический зал.

Он делал на турнике, на трапедии и на параллельных брусьях такие упражнения, которых никогда не могли сделать самые лучшие корпусные гимнасты. Он и сам-то похож был на циркача очень малым ростом, чересчур широкими плечами и короткими кривыми ногами.

Сейчас же вслед за доктором пришел дежурный воспитатель, никем не любимый и не уважаемый Михин.

– Здравствуйте, господа, – поздоровался он с кадетами.

И все они, даже не сговорившись заранее, вместо того чтобы крикнуть обычное: «Здравия желаем, господин поручик», ответили равнодушно: «Здравствуйте».

Михин густо покраснел.

– Раздевайтесь на физический осмотр, – приказал он дрожащим от смущения и обиды голосом и стал кусать губы.

Кадеты быстро разделись донага и босиком подходили по очереди к доктору. То, что было в этом телесном осмотре особенно интимного, исполнял фельдшер. Доктор Криштафович только наблюдал и делал отметки на списке против фамилий. Такой подробный осмотр производился обыкновенно в корпусе по четыре раза в год, и всегда он бывал для Александра чем-то вроде беспечной и невинной забавы, тем более что при нем всегда бывало испытание силы на разных силомерах – нечто вроде соперничества или состязания. Но почему теперь такими грубыми и такими отвратительными казались ему прикосновения фельдшера к тайнам его тела?

И еще другое: один за другим проходили мимо него нагишом давным-давно знакомые и привычные товарищи. С ними вместе сто раз мылся он в корпусной бане и купался в Москвереке во время летних Коломенских лагерей. Боролись, плавали наперегонки, хвастались друг перед другом величиной и упругостью мускулов, но самое тело было только незаметной оболочкой, одинаковой у всех и ничуть не интересною.

И вот теперь Александр с недоумением заметил, чего он раньше не видел или на что почему-то не обращал внимания. Странными показались ему тела товарищей без одежды. Почти у всех из-под мышек росли и торчали наружу пучки черных и рыжих волос. У иных груди и ноги были покрыты мягкой шерстью. Это было внезапно и диковинно. И тут только заметил он, что прежние золотистые усики на верхней губе Бутынского обратились в рыжие, большие, толстые фельдфебельские усы, закрученные вверх. «Что с нами со всеми случилось?» – думал Александр и не понимал.

Но особенно смущали его от природы необычайно тонкое обоняние запахи этих сильных, полумужских обнаженных тел. Они пахнули по-разному: то сургучом, то мышатиной, то пороховой гарью, то увядающим нарциссом...

– Удивительно, неужели мы все разные, – сказал себе Александр, – и разные у нас характеры, и в разные стороны потекут наши уже чужие жизни, и разная ждет нас судьба? Да и правда: уж не взрослые ли мы стали?

Осмотр кончился. Кадеты оделись и поехали в училище на Знаменку. Но каким способом и каким путем они ехали – это навсегда выпало из памяти Александра. В бесконечную длину растянулся для него сложный, пестрый, чрезмерно богатый лицами, событиями и впечатлениями день вступления в училище.

Утром в Химках прощание с сестрой Зиной, у которой он гостил в летние каникулы. Здесь же, по соседству, визит семье Синельниковых. С большим трудом удалось ему улучшить минуту, чтобы остаться наедине с богоподобной Юленькой, но когда он потянулся к ней за знакомым, сладостным, кружащим голову поцелуем, она мягко отстранила его загорелой рукой и сказала:

– Забудем летние глупости, милый Алеша. Прошел сезон, мы теперь стали большие. В Москве приходите к нам потанцевать. А теперь прощайте. Желаю вам счастья и успехов.

И он ушел, молча, обиженный, несчастный, едва сдерживая горькие слезы...

Потом путь по железной дороге до Николаевского вокзала; оттуда на конке в Кудрино, к маме; затем вместе с матерью к Иверской Божьей Матери; после чуть ли не на край города в Лефортово, в кадетский корпус. Прощание, переодевание и, наконец, опять огромный путь на Арбат, на Знаменку, в белое здание Александровского училища.

В теле усталость, в голове путаница. В целые годы растянулся этот тягучий день, и все нет ему конца.

Никогда потом в своей жизни не мог припомнить Александр момента вступления в училище. Все впечатления этого дня походили у него в памяти на впечатления человека, проснувшегося после сильнейшего опьянения: какие-то смутные картины, пустячные мелочи и между ними черные провалы. Так и не мог он восстановить в памяти, где выпускных кадет

переодевали в юнкерское белье, одежду и обувь, где их ставили под ранжир и распределяли по ротам.

Ярче всего сохранилась у него такая минута: он стоит в длинном широком белом коридоре; на нем легкая свободная куртка, застегнутая сбоку на крючки, а на плечах белые погоны с красным вензелем А. П., Александр Второй. По коридору взад и вперед снуют молодые люди. Здесь и старые юнкера-второкурсники, которых сразу видно по выправке, и только прибывшие выпускные кадеты других корпусов, как московских, так и провинциальных, в разноцветных погонах. Тут впервые понимает Александров, как тяжело одиночество в чужой незнакомой толпе.

Он стоит у широкого окна, равнодушно прислушиваясь к гулу этого большого улья, рассеянно, без интереса, со скукою глядя на пестрое суетливое движение. К нему подходит невысокий офицер с капитанскими погонами – он худощав и смугло румян, черные волосы разделены тщательным пробором. Чуть-чуть заикаясь, спрашивает он Александрова:

– Какого э... корпуса?

– Второго московского, господин капитан.

– Э... На что же вы себе такие волосья отпустили? Думаете, красиво?

И он кричит громко:

– Андриевич!

– Я! – раздается отклик с другого конца коридора, и к офицеру быстро подбегает и ловко вытягивается перед ним тот самый Андриевич, который шел вместе с Александровым до шестого класса, очень дружил с ним и даже издавал с ним вместе кадетскую газету.

Офицер спрашивает:

– Вашего корпуса?

– Так точно, господин капитан.

– Э... Так возьмите этого отца протодиакона и тащите его к цирюльнику стричься, ишь какую гривицу отрастил.

– Слушаю, господин капитан.

Весело, лукаво улыбаясь, он непринужденно берет Александрова за рукав и говорит:

– Идем, идем, фараон.

Потом он сам наблюдает, как в умывалке цирюльник стрижет наголо бывшего друга-приятеля, и слегка добродушно подтрунивает.

– Почему же я фараон? – спрашивает Александров.

Тот отвечает:

– Потому же, почему я обер-офицер. Разница между первым и вторым курсом.

– А кто же этот капитан?

– Это командир нашей четвертой роты, капитан Фофанов, а по-нашему Дрозд. Строгая птица, но жить с ней все-таки можно. Я тебя давно знаю. Ты у него досыта насидишься в карцере.

По окончании стрижки он доставляет его ротному командиру. Тот смотрит на новичка сверху вниз, склоняя голову то на левый, то на правый бок.

– Э... Ничего. Так хоть немножко на юнкера похож. Вы его подтягивайте, Андриевич.

Глава V

Фараон

С трудом, очень медленно и невесело осваивается Александров с укладом новой училищной жизни, и это чувство стеснительной неловкости долгое время разделяют с ним все первокурсники, именуемые на юнкерском языке «фараонами», в отличие от юнкеров старшего курса, которые, хотя и преждевременно, но гордо зовут себя «господами обер-офицерами».

В кличке «фараон», правда, звучит нечто пренебрежительное, но она не обижает уже благодаря одной своей нелепости. В Александровском училище нет даже и следов того, что в других военных школах, особенно в привилегированных, называется «цуканьем» и состоит в грубом, деспотическом и часто даже унижительном обращении старшего курса с младшим: дурацкий обычай, собезьяненный когда-то, давным-давно, у немецких и дерптских студентов, с их буршами и фуксами, и обратившийся на русской черноземной почве в тупое, злобное, бесцельное издевательство.

За несколько лет до Александрова «цуkanie» собиралось было прочно привиться и в Москве, в белом доме на Знаменке, когда туда по какой-то темной причине был переведен из Николаевского кавалерийского училища светлейший князь Дагестанский, привезший с собою из Петербурга, вместе с распушенной развинченностью, а также с модным томным грассированием, и глупую моду «цукать» младших товарищей. Может быть, его громкий титул, может быть, его богатство и личное обаяние, а вероятнее всего, стадная подражательность, так свойственная юношеству, были причинами того, что обычаем «цукания» заразилась сначала первая рота – рота его величества, – в которую попал князь, а потом постепенно эту дурную игру переняли и другие три роты.

Однако это вредное самоуправство оказалось недолговечным. Преобладающим большинством в училище были коренные москвичи, вышедшие из четырех кадетских корпусов. Москва же в те далекие времена оставалась воистину «порфиносною вдовою», которая не только не склонялась перед новой петербургской столицей, но величественно презирала ее с высоты своих сорока сороков, своего несметного богатства и своей славной древней истории. Была она горда, знатна, самолюбива, широка, независима и всегда оппозиционна. Порою казалось, что она считает себя совсем отдельным великим княжеством, с князем-хозяином Владимиром Долгоруким во главе. Бюрократический Петербург, с его сухостью, узостью и европейской мелочностью, не существовал для нее. И петербургской аристократии она не признавала. «В Питере – все выскочки. Самым старым родам не более трехсот лет, а ордена и высокие титулы там даются за низкопоклонство и угодливость». А Москва? «Что за тузы в Москве живут и умирают! Какие славные вековые боярские столбовые роды обитают в ней на Пречистенке, на Поварской, на Новинском бульваре и на Никитских...» И самый воздух в первопрестольной был совсем иной, чем петербургский: куда крепче, ядренее, легче, хмельнее и свободнее. Петербургские штучки, словца и шуточки вяло прививались в Москве и скоро отмирали. Таким же путем прекратилось в Александровском училище и пресловутое немецкое «цуkanie». Не место ему было в свободолюбивой Москве. Угнетенные навязанной мелкой тиранией господ обер-офицеров, юнкера, однако, не жаловались ни высшему начальству, ни своим родителям: и то и другое было бы изменой внутреннему духу и укладу училища. Переворот произошел как-то случайно, сам собою, в один из тех июльских горячих дней, когда подходила к самому концу тяжелая, изнурительная лагерная служба.

Юнкера старшего класса уже успели разобрать, по присланному из Петербурга списку, двести офицерских вакансий в двухстах различных полках. По субботам они ходили в город к военным портным примерить в последний раз мундир, сюртук или пальто и ежедневно, с часа на час, лихорадочно ждали заветной телеграммы, в которой сам государь император поздравит их с производством в офицеры.

В этот день после нудного батальонного учения юнкера отдыхали и мылись перед обедом. По какой-то странной блажи второкурсник третьей роты Павленко подошел к фараону этой же роты Голубеву и сделал вид, что собирается щелкнуть его по носу. Голубев поднял руку, чтобы предотвратить щелчок. Но Павленко закричал: «Это что такое, фараон? Смирно! Руки по швам!» Он еще раз приблизил сложенные два пальца к лицу Голубева. Но тут произошло нечто вовсе неожиданное. Скромный, всегда тихий и вежливый Голубев воскликнул:

– Довольно вы надо мною издевались! – и с этим криком, быстро открыв складной ножик, вонзил его в наружную сторону протянутой кисти. Павленко опешил. Рана оказалась пустячная, но кровь потекла обильно. Кстати, Голубев первый сделал Павленку перевязку из своего чистого полотенца.

Эта неприятная история быстро разнеслась по всему лагерю. Ни старшие, ни младшие юнкера не знали, как отнестись к кровавому событию. Некоторые из выпускных, очень немногие, и самые ярые «цукатели» предлагали довести до сведения начальства о дерзком поступке Голубева: пусть его подвергнут усиленному аресту или отправят нижним чином в полк. Но половина господ обер-офицеров и все фараоны стояли за него. Мигом по всем четырем баракам второкурсников помчались летучие гонцы: «После обеда всему второму курсу собраться в столовую!»

Собралось человек до шестидесяти. Уклонились лентяи, равнодушные, эгоисты, боязливые, туповатые, мнительные, неисправимые сони, выгадывавшие каждую лишнюю минутку, чтобы поваляться в постели, а также будущие карьеристы и педанты, знавшие из устава внутренней службы о том, что всякие собрания и сборища строго воспрещаются.

Говорили все сразу, но договорились очень скоро.

«Нам колбасники, немецкие студенты, не пример и гвардейская кавалерия не указ. Пусть кавалерийские юнкера и гвардейские „корнеты“ ездят верхом на своих зверях и будят их среди ночи дурацкими вопросами. Мы имеем высокую честь служить в славном Александровском училище, первом военном училище в мире, и мы не хотим марать его прекрасную репутацию ни шутовским балаганом, ни идиотской травлей младших товарищей. Поэтому решим твердо и дадим друг другу торжественное слово, что с самого начала учебного года мы не только окончательно прекращаем это свинское цуканье, достойное развлечений в тюрьме и на каторге, но всячески его запрещаем и не допустим его никогда. Да его уже и нет, оно прошло, и мы забыли о нем. Не правда ли, друзья? и все. И точка.

Пусть, в память старины, фараоны так и остаются фараонами. Не нами это прозвание придумано, а нашими прославленными предками, из которых многие легли на поле брани за веру, царя и отечество. Пусть же свободный от цукания фараон все-таки помнит о том, какая лежит огромная дистанция между ним и господином обер-офицером. Пусть всегда знает и помнит свое место, пусть не лезет к старшим с фамильярностью, ни с амикошонством, ни с дружбой, ни даже с простым праздным разговором. Спросит его о чем-нибудь обер-офицер – он должен ответить громко, внятно, бодро и при этом всегда правду. И конец. И дальше – никакой болтовни, никакой шуточки, никакого лишнего вопроса. Иначе фараон зазнается и распустится. А его, для его же пользы, надо держать в строгом, сухом и почтительном отдалении.

Да и зачем ему соваться в высшее, обер-офицерское общество? В роте пятьдесят таких фараонов, как и он, пусть они все дружатся и развлекаются. Мирятся и ссорятся, танцуют и поют промеж себя; пусть хоть представления дают и на головах ходят, только не мешали бы вечерним занятиям.

Но две вещи фараонам безусловно запрещены: во-первых, травить курсовых офицеров, ротного командира и командира батальона; а во-вторых, петь юнкерскую традиционную «расстанную песню»: «Наливай, брат, наливай». И то и другое – привилегии господ обер-офицеров; фараонам же заниматься этим – и рано и не имеет смысла. Пусть потерпят годик, пока сами не станут обер-офицерами... Кто же это в самом деле прощается с хозяевами, едва переступив порог, и кто хулит хозяйские пироги, еще их не отведав?»

Так, или почти так, выразили свое умное решение нынешние фараоны, а через день, через два уже господа обер-офицеры; стоит только прийти волшебной телеграмме, после которой старший курс мгновенно разлетится, от мощного дуновения судьбы, по всем концам необъятной России. А через месяц придут в училище и новые фараоны.

И еще одно мудрое словесное постановление было утверждено на этом необыкновенном заседании в просторном столовом бараке...

«Но надо же позаботиться и о жалких фараонах. Все мы были робкими новичками в училище и знаем, как тяжелы первые дни и как неуверенны первые шаги в суровой дисциплине. Это все равно что учиться кататься на коньках или ходить на ходулях. И потому пускай каждый второкурсник внимательно следит за тем фараоном своей роты, с которым он всего год назад ел одну и ту же корпусную кашу. Остереги его вовремя, но вовремя и подтяни крепко. От веков в великой русской армии новобранцу был первым учителем, и помощником, и заступником его дядька-земляк».

Всю вескость последнего правила пришлось вскоре Александрову испытать на практике, и урок был не из нежных. Вставали юнкера всегда в семь часов утра; чистили сапоги и платье, оправляли койки и с полотенцем, мылом и зубной щеткой шли в общую круглую умывалку, под медные краны. Сегодняшнее сентябрьское утро было сумрачное, моросил серый дождик; желто-зеленый туман висел за окнами. Тяжесть была во всем теле, и не хотелось покидать кровати.

К Александрову подошел дежурный по роте, второкурсник Балиев, очень любезный и тихий армянин с оливковым лицом, испещренным веснушками.

– Вставайте же, Александров, – сказал он спокойно. – Вставайте.

– Да я сейчас, сейчас. Дайте полежать несколько минуток. Что вам стоит?

– А я вам говорю: вставайте немедленно! – возвысил голос Балиев.

– Ах, боже мой! Что же вам, жалко, что ли?

И вдруг он услышал через всю спальню резкий и гневный голос:

– Александров, молчать! Вставайте сию секунду!

В этом голосе было столько повелительного, что бедный фараон мгновенно вскочил на ноги, стряхнул с глаз сонную истому и сразу увидел, что кричал старший юнкер Тучабский. Это для Александрова было и дико и непонятно. Ведь это тот самый Тучабский, с которым они жили в тесной дружбе целых шесть корпусных лет, пока Александров не застрял на второй год в шестом классе. Раньше же у них было все общее: пополам покупали халву и нугу, вместе собирали коллекции растений, бабочек и перьев. Изобрели собственную, никому не понятную азбуку и таинственный разговорный язык. Вместе же они одно время увлекались пиротехникой: делали из серы, селитры, бертолетовой соли, толченого сахара и угля бенгальские огни, вертуны и шутихи и зажигали их вечером в ватерклозете. Также читали друг другу по очереди книги, принесенные с воли... Да ведь это он, Тучабский, прежний, милый друг Тучабский!.. Откуда же у него взялся этот страшный голос, который точно столкнул Александрова с постели на пол. И горько и обидно стало фараону. «Что же меня ждет дальше?»

А после обеда, когда наступило время двухчасового отдыха, Тучабский подошел к Александрову, сидевшему на койке, положил ему свою огромную руку на голову и сурово-ласково сказал:

– Ты не сердись на меня. Я тебе же добра желаю. И прошу перестать быть ершом. Здесь тебе не корпус, а военное училище с воинской службой. Да подожди, все обомнется, все утрясется... Так-то, дорогой мой.

И ушел.

Глава VI

Танталовы муки

Каждую среду на полдня и каждую субботу до вечера воскресенья юнкера ходили в отпуск. Злосчастные фараоны с завистью и с нетерпением следили за тем, как тщательно обря-

жались обер-офицеры перед выходом из стен училища в город; как заботливо стягивали они в талию новые прекрасные мундиры с золотыми галунами, с красным вензелем на белом поле. Мундиры, туго опоясанные широким кушаком, на котором перекрещивались две гренадерские пылающие гранаты. На левом боку кушака прикреплялся штык в кожаном футляре. Прежде – помнил Александров по своим ранним кадетским годам – оружием юнкера был не узенький, как селетка, штык, а тяжелый, широкий гренадерский тесак с медной витой рукоятью – настоящее боевое оружие, которым при желании свободно можно было бы оглушить быка. Александров уже знал, что совсем не его славные предки, «старинные александровцы», вызвали своим поведением такую прискорбную замену оружия. Виноваты были юнкера военного окружного училища, что в Красных казармах, те самые, которые после стажа в полку держат при своем училище экзамен на армейского подпрапорщика и которые набираются с бора по сосенке. Это они одной зимней ночью на Масленице завязали огромный скандал в области распревеселых непотребных домов на Драчевке и в Соболевом переулке, а когда дело дошло до драки, то пустили в ход тесаки, в чем им добросовестно помогли строевые гренадеры Московского округа. Около этого дурацкого события поднялся большой и, как всегда, преувеличенный шум, притушить который начальство не успело вовремя, и результатом был строгий общий разнос из Петербурга с приказом заменить во всем Московском гарнизоне тяжкие обоюдоострые тесаки невинными штыками...

Этот выходной костюм довершался летом – бескозыркой с красным околышем и кокардой, зимою – каракулевой низкой шапкой с золотым (медным) начищенным орлом. И тот и другой головной убор бывал лихо и вызывающе сдвинут на правый бок. Широкие черные штаны, по моде, заимствованной у императорских стрелков, надевались с широким напуском и низко заправлялись в *собственные* шикарные сапоги, французского или русского лака, стоявшие недешево. Постоянный училищный поставщик Ефремов брал за них с колодками от пятнадцати до восемнадцати рублей. Совсем, окончательно бедные юнкера принуждены были ходить в отпуск в казенных сапогах, слегка и вовсе уж не так дурно благоухавших дегтем. Зато белые замшевые перчатки были и обязательны и недороги: мыть их можно было хоть сто раз, и они ничуть не изнашивались. Да в училище никому бы не могло прийти в голову смеяться или глумиться над юнкером, родственники которого были людьми несостоятельными, часто многосемейными и живущими в глухой провинции на жалкую полковничью или майорскую пенсию. Случаи подобного издевательства были совсем неизвестны в домашней истории Александровского училища, питомцы которого, по каким-то загадочным влияниям, жили и возрастали на основах рыцарской военной демократии, гордого патриотизма и сурового, но благородного, заботливого и внимательного товарищества.

С особенной пристальностью следили, разинув рты, несчастные фараоны за тем, как обер-офицеры, прежде чем получить увольнительный билет, шли к курсовому офицеру или к самому Дрозду на осмотр.

– Почему косит борт? Зачем кокарда не посредине? Грудь морщит. Подтянуть! Кругом! Расправить складку на спине!

Но вот ровным, щегольским, учебным шагом подходит, громыхая казенными сапожками, ловкий «господин обер-офицер». Раз, два. Вместе с приставлением правой ноги рука в белой перчатке вздергивается к виску. Прием сделан безупречно. Дрозд осматривает молодцеватого юнкера с ног до головы, как лошадиный знаток породистого жеребца.

– Хорошо, юнкер. И одет безупречно. За версту видно braveго александровца. Видно сову по полету, добра молодца по соплям.

– Рад стараться, ваше высокоблагородие!

– Ступайте с богом. – Двухприемный, крепкий поворот налево, и юнкер освобожден.

Новичкам еще много остается дней до облачения в парадную форму и до этого требовательного осмотра. Но они и сами с горечью понимают, что такая красивая, ловкая и легкая

отчетливость во всех воинских движениях не дается простым подражанием, а приобретается долгой практикой, которая наконец становится бессознательным инстинктом.

До безумия, до чесотки хочется в отпуск, но нечего об этом счастья и думать. Не успел еще фараон дозреть до отпуска. Медленно ползут дни и недели скучного томления. Роздых и умягчение фараонским душам бывает только по четвергам. Каждый четверг за обедом играет в полуподвальной громадной каменной юнкерской столовой училищный оркестр. Этот оркестр и его изумительный дирижер, старый Крейнбринг, которого помнят древнейшие поколения александровцев, составляют вместе одну из почтенных московских достопримечательностей.

Всем юнкерам, так же как и многим коренным москвичам, давно известно, что в этом оркестре отбывают призыв лучшие ученики московской консерватории, по классам духовых инструментов, от начала службы до перехода в великолепный Большой московский театр. Юнкера – великие мастера проникнуть в разные крупные и малые дела и делишки – знают, что на флейте играет в их оркестре известный Дышман, на корнет-а-пистоне – прославленный Зеленчук, на гобое – Смирнов, на кларнете – Михайловский, на валторне – Чародей-Дудкин, на огромных медных басах – наемные, сверхсрочно служащие музыканты гренадерских московских полков, бывшие ученики старого требовательного Крейнбринга, и так далее. Барабанщик же Александровского оркестра – несменяемый великий артист Индурский, из кантонистов, однолетка с Крейнбрингом, – маленький, стройный старичок с черными усами и с седыми баками по пояс. Он первейший из всех барабанщиков Московского военного округа, а может быть, всего мира. Говорят, что однажды состоялось в московском манеже торжественное состязание специалистов по маленькому барабану, и Индурский блистательно вышел из него первым. Всем известно, что Индурский никому не хочет сообщить тайну своей несравненной дробы и унесет ее с собой в могилу. Что поделаешь? Во всяком военном училище есть такого рода безвредный, немножко смешной со стороны, невинный и наивный шовинизм.

Садясь за четверговой обед, юнкера находят на столах музыкальную программу, писанную круглым военно-писарским «рондо» и оттиснутую гектографом. В нее обыкновенно входили новые штраусовские вальсы, оперные увертюры и попури, легкие пьесы Шуберта, Шумана, Мендельсона и Вагнера. Оркестр Крейнбринга был так на славу выдрессирован, что исполнял самые деликатные подробности, самое сладкое пиано с тонким совершенством хорошего струнного оркестра.

Нередко юнкера аплодировали, но старый, немного горбатый Крейнбринг не обращал никакого внимания на эти знаки поощрения. Иногда юнкера просили сыграть одну из своих любимых вещиц, например, «Мельницу», «Марш Буланже», «Турецкий патруль», увертюру из «Руслана» или особенно «Почту в лесу». Последняя пьеска игралась с фокусом, чрезвычайно занимательным. Великий мастер корнет-а-пистона Зеленчук перед началом номера незаметно для юнкеров уходил из столовой и прятался в конце длинного-предлинного коридора. Вся прелесть состояла в том, что, как только кончалась оркестровая интродукция, Зеленчук вплетал в нее тихий, немного печальный отзыв, шедший как будто в самом деле из далекой глубины леса. И таким образом оркестр довольно долго перекликался с заблудившимся почтальоном, все время приближаясь друг к другу, пока не встречались в общем хоре.

Но упросить Крейнбринга бывало не легко. Этот старый немец отличался козлиным упрямством. С высоты своей славы – пусть только московской, но несомненной – он, как и почти все музыкальные маэстро, презирал большую, невежественную толпу и был совсем не чувствителен к комплиментам. Москвичи говорили про него, что он уважает только двух человек на свете: дирижера Большого театра, строптивного и властного Авранека, а затем председателя немецкого клуба, фон Титцнера, который в честь компатриота и сочлена выписывал колбасу из Франкфурта и черное пиво из Мюнхена.

Но одну вещь, весьма ценимую юнкерами, он не только часто ставил в четверговые программы, но иногда даже соглашался повторять ее. Это была увертюра к недоконченной опере

Литольфа «Робеспьер». Кто знает, почему он давал ей такое предпочтение: из ненависти ли к великой французской революции, из почтения ли к личности Робеспьера или его просто волновала музыка Литольфа?

В этой героической увертюре в самом финале есть страшный эффект, производимый резким и грозным ударом литавров: это тот момент, когда тяжелый стальной нож падает на склоненную шею «Неподкупного».

Между юнкерами по поводу этой увертюры ходило давнее предание, передававшееся из поколения в поколение. Рассказывали, что будто бы первым литавщиком, исполнявшим роковой удар гильотины, был никому не известный скромный маленький музыкант, личный друг Крейнбринга еще с детских лет.

Говорили дальше, что этот музыкант пришел однажды в оркестр в каком-то особенно серьезном, почти торжественном настроении. На расспросы товарищей он отвечал нехотя и равнодушно, но сказал одному из них, якобы самому Крейнбрингу: «Сегодня вы услышите такой удар гильотины, которого не забудете никогда в жизни». И правда. Случилось нечто невероятно жуткое. Безвестный музыкант выждал точно определенную секунду и ударил в литавры с необычайной силой. Но тут же он упал на пол, пораженный разрывом сердца. Уверяли еще старые юнкера молодых, что будто бы Крейнбринг научил барабанщика Индурского этому необыкновенному удару в память своего преждевременно скончавшегося друга... Так же, как и сам в память его играл увертюру. Что здесь было правдой и что выдумкой, никто не удосужился проверить; спросить же сердитого, важного и молчаливого Крейнбринга никто бы не отважился, да он, кажется, знал по-русски одни музыкальные слова, но все равно: юному сердцу нельзя жить без романтики.

Конечно, прекрасен был училищный оркестр, гордость александровцев, и ждали юнкера четвергового концерта с жадным нетерпением; но для бедных желторотых фараонов один час вокального наслаждения далеко не искупал многих часов беспрестанной прозаической строежайшей муштры и неловкой связанности и беспомощности в чужом, еще не обжитом доме, в котором невольно натыкаешься на все углы и косяки.

Первое, чему неизбежно учили каждого юнкера, была заповедь:

– Сначала забудьте все то, чему вас учили в кадетском корпусе. Теперь вы не мальчишки, и каждый из вас в случае надобности может быть мгновенно призван в состав действующей армии и, следовательно, отправлен на поле сражения. Значит, каждого указания и приказа старших слушаться и подчиняться ему беспрекословно.

И правда, очень многому, почти всему, приходилось переучиваться заново.

– Чтобы плечи и грудь были поставлены правильно, – учил Дрозд, – вдохни и набери воздуха столько, сколько можешь. Сначала затаи воздух, чтобы запомнить положение груди и плеч, и когда выпустишь воздух, оставь их в том же самом порядке, как они находились с воздухом. Так вы и должны держаться в строю.

Всегда ходи и держись, даже вне строя, так, как подобает воину. Не шаркайте подметками, не везите, не волочите ног по полу. Шаг легкий, быстрый, крупный и веселый. Идете вдвоем, непременно в ногу. Даже когда идешь один, в уборную, и то иди, как будто идешь в ногу. Никогда не горбиться. Для этого научись держать высоко голову, однако не выставляя вперед подбородок и, наоборот, втягивая его в себя... Александров! Сейчас вы промаршируете вперед и назад. Попробуйте идти сгорбившись, а голову как можно выше. Ну! Шагом марш! Раз-два, раз-два! Стой! Ну, что, юнкер Александров? Ловко ли сутулиться, а голову держать высоко?

– Никак нет, ваше высокоблагородие (так величали юнкера офицеров в строю и по службе). Даже, скорее, трудно.

– Ну вот, теперь поняли? А жаль, что вы сами себя в это время не видели. Зрелище было довольно-таки гнусное... Итак, друзья мои, никогда не забывайте, что на вас вся Москва

смотрит. Гляди, как орел, ходи женихом. Вы же, юнкера второго курса, следите зорко за этими желторотыми. Не скупитесь на замечания и выговоры. Им это будет только на пользу. Ибо, – и тут он повысил голос до окрика, – ибо, как только увижу, что мой юнкер переваливается, как брюхатая попадя, или ползет, как вошь по мокрому месту, или смотрит на землю, как разочарованная свинья, или свесит голову набок, подобно этакому увядающему цветку, – буду греть беспощадно: лишние дневальства, без отпуска, арест при исполнении служебных обязанностей.

Да, это были дни воистину учетверенного нагревания. Грел свой дядька-однокурсник, грел свой взводный портупей-юнкер, грел курсовой офицер и, наконец, главный разогреватель, красноречивый Дрозд, лапидарные поучения которого как-то особенно ядовито подчеркивались его легким и характерным заиканием.

Учили строевому маршу с ружьем, обязательно со скатанной шинелью через плечо и в высоких казенных сапогах, но учили также и легкой уверенной красивой городской походке. Учили простой стойке, с ружьем и без ружья. Учили или, вернее, переучивали ружейные приемы.

Сравнительно с легкими драгунскими берданками, которые употреблялись в корпусе, двенадцати с половиною фунтовые пехотные винтовки были с непривычки тяжеловаты. Поднять за штык на вытянутой руке такую винтовку мог среди первокурсников один Жданов.

Но больше всего было натаскивания и возни с тонким искусством отдания чести. Учились одновременно и во всех длинных коридорах и в бальном (сборном) зале, где стояли портреты выше человеческого роста императора Николая I и Александра II и были врезаны в мраморные доски золотыми буквами имена и фамилии юнкеров, окончивших училище с полными двенадцатью баллами по всем предметам.

Здесь практически проверялась память: кому и как надо отдавать честь. Всем господам обер– и штаб-офицерам чужой части надлежит простое прикладывание руки к головному убору. Всем генералам русской армии, начальнику училища, командиру батальона и своему ротному командиру честь отдается, становясь во фронт.

– Смотри, Александров, – приказывает Тучабский. – Сейчас ты пойдешь ко мне навстречу! Я – командир батальона. Шагом марш, раз-два, раз-два... Не отчетливо сделал полуоборот на левой ноге. Повторим. Еще раз. Шагом марш... Ну а теперь опоздал. Надо начинать за четыре шага, а ты весь налез на батальонного. Повторить... раз-два. Эко, какой ты непонятливый фараон! Рука приставляется к борту бескозырки одновременно с приставлением ноги. Это надо отчетливо делать, а у тебя размазня выходит. Отставить! Повторим еще раз.

Конечно, эти ежедневные упражнения казались бы бесконечно противными и вызывали бы преждевременную горечь в душах юношей, если бы их репетиторы не были так незаметно терпеливы и так сурово участливы.

Случалось, они резко одергивали своих птенцов и порою, чтобы расцветить монотонность однообразной работы, расцвечивали науку острым, крупным солдатским словечком, сбереженным от времен далеких училищных предков. Но злоба, придирчивость, оскорбление, издевательство или благоволение к любимчикам совершенно отсутствовали в их обращении с младшими. Училищное начальство – и Дрозд в особенности – понимало большое значение такого строгого и мягкого, семейного, дружеского военного воспитания и не препятствовало ему. Оно по справедливости гордилось ладным табуном своих породистых однолеток и двухлеток жеребчиков – горячих, смелых до дерзости, но чудесно послушных в умных руках, умело соединяющих ласку со строгостью.

Прежний начальник училища, ушедший из него три года назад, генерал Самохвалов, или, по-юнкерски, Епишка, довел пристрастие к своим молодым питомцам до степени, пожа-

луй, немного чрезмерной. Училищная неписаная история сохранила многие предания об этом взбалмошном, почти неправдоподобном, почти сказочном генерале.

Ему ничего не стоило, например, нарушить однажды порядок торжественного парада, который принимал сам командующий Московским военным округом. Несмотря на распоряжение приказа, отводившего место батальону Александровского училища непосредственно позади гренадерского корпуса, он приказал ввести и поставить свой батальон впереди гренадер. А на замечание командующего парадом он ответил с великолепной самоуверенностью:

– Московские гренадеры – украшение русской армии, но согласитесь, ваше превосходительство, с тем, что юнкера Александровского училища – это московская гвардия.

И он настоял на своем. Неизвестно, как сошла ему с рук эта самодурская выходка. Впрочем, вся Москва любила свое училище, а Епишка, говорят, был в милости у государя Александра II.

Рассказывали о таком случае: какой-то пехотный подпоручик, да еще не Московского гарнизона, да еще, говорят, не особенно трезвый, придрался на улице к юнкеру-второкурснику якобы за неправильное отдавание чести и заставил его несколько раз повторить этот прием. Собралась глазастая московская толпа. Юнкер от стыда, от оскорбления и бешенства сделал чрезвычайно тяжелый дисциплинарный проступок. Заметив проезжавшего легкой рысью лихача на серой лошади, он вскочил в пролетку и крикнул: «Валяй вовсю!» Примчавшись в училище, потрясенный только что случившейся с ним бедою, он прибежал к Самохвалову и рассказал ему подробно все свершившееся с ним. Епишка кричал на него благим матом с полчаса, а потом закатал его в карцер, всей полнотой своей грузной начальнической власти, под усиленный арест. Когда же прибыл в училище обиженный пехотный подпоручик со своею жалобой, Самохвалов приказал выстроить все училище.

– Юнкер моего училища, – сказал он, – не мог бы совершить такого проступка. Впрочем, сделайте милость, вот вам все мои юнкера. Ищите виновного.

Конечно, подпоручик, растерявшийся под обстрелом четырехсот пар насмешливых и недружелюбных взглядов, не нашел своего обидчика, а юнкер благополучно избег отдачи в солдаты почти накануне производства.

Много других подобных поблажек делал Епишка своим возлюбленным юнкерам. Нередко прибегал к нему юнкер с отчаянной просьбой: по всем отраслям военной науки у него баллы душевного спокойствия, но преподаватель фортификации только и знает, что лепит ему шестерки и даже пятерки... Невзлюбил сироту! И вот в среднем никак не выйдет девяти, и прощай теперь, первый разряд, прощай, старшинство в чине...

Тогда Епишка неизменно гнал юнкера в карцер, оставлял на две недели без отпуска и назначал на три внеочередных дежурства. А потом вызывал к себе учителя, полковника инженерных войск, и ласково, убедительно, мягко говорил ему:

– Ах, полковник! Я ведь давно позабыл высокое искусство фортификации. Помню как сквозь сон: Вобана, Тотлебена, ну там какие-то барбетты, траверсы, капониры... а вы ведь в этом деле восходящая звезда первой величины. Но согласитесь же, полковник: разве мой юнкер может знать фортификацию меньше, чем на девять, тем более такой отличный юнкер? Краса и гордость училища. Уверяю вас, он будет самым достойным офицером. Но куда же ему в инженеры? Тут необходим талант и такая светлая голова, как у вас. Ну, согласитесь же с тем, что скрепя сердце все-таки можно моему юнкеру натянуть на девятку?

И полковник соглашался.

– Бог с ним, с этим сумбурным Епишкой... Уж лучше с ним не связываться.

Но странно: юнкерам был забавен Самохвалов своей закидливостью и своим фейерверчным темпераментом; ценили его преданность училищу и его гордость своими александровцами. Но в глубине души не любили и не уважали его одну несправедливую черту. Ублажая и распуская юнкеров, он с беспощадной, бурбонской жестокой грубостью обращался с подчи-

ненными ему офицерами. Необыкновенно тяжелы были его взыскания, налагаемые на офицеров, но еще труднее им было переносить, в присутствии юнкеров, его замечания и выговоры, переходящие порой в бесстыдные ругательства, оскорблявшие и их и его честь.

Впрочем, на этой почве его ждало тяжелейшее возмездие. Первым вышел из терпения штабс-капитан Квалиев, грузин, герой турецкой кампании 1877–1878 годов, георгиевский кавалер, тяжело раненный при взятии Плевны, офицер, глубоко почитаемый юнкерами. После одной из безобразных выходок Самохвалова Квалиев пришел к нему на квартиру и потребовал от него объяснений (говорят, что от лица всех офицеров). В результате этого свидания было то, что Самохвалов оставил училище и был переведен командиром бригады на крайний юг России. Про Квалиева говорили мало и темно. Были вести, что он покончил впоследствии жизнь самоубийством.

Глава VII Под знамя!

На земле, а может быть, почем знать, и в целом мироздании, существует один-единственный непреложный закон:

«Все на свете должно рано или поздно окончиться, и никто и ничто не избежит этого веления».

Через месяц окончилась казавшаяся бесконечной усиленная тренировка фараонов на ловкость, быстроту, красоту и точность военных приемов. Наступил момент, когда строгие глаза учителей нашли прежних необработанных новичков достаточно спелыми для высокого звания юнкера Третьего военного Александровского училища. Вскоре пронеслась между фараонами летучая волнующая весть: «В эту субботу будем присягать!»

Давно пригнанные парадные мундиры спешно, в последний раз, примерялись в цейхгаузах. За тяжелое время непрестанной гоньбы молодежь как будто выросла и осунулась, но уже сама невольно чувствует, что к ней начинает прививаться та военная прямизна и подтянутость, по которой так нетрудно узнать настоящего солдата даже в вольном платье.

Наступает суббота. В этот день учебные и иные занятия длятся только три часа, только до завтрака. Придя от завтрака в ротные помещения, юнкера находят разостланную служителями по постелям первосрочную, еще пахнущую портняжной мастерской одежду.

– Й-э, ж-живо одеваться! – командует Дрозд. – Й-э, чтобы ни морщинки, ни складочки!

Фельдфебель Рукин строит роту в две шеренги.

– С богом, – командует Дрозд.

Все четыре роты, четыреста человек, неторопливо выливаются на большой внутренний учебный плац и выстраиваются в двухвзводных колоннах: на правом фланге юнкера старшего курса с винтовками; на левом – первокурсники без оружия. Перед строем священники: православный – в черной сутане, с четырехугольной шапочкой на голове; лютеранский – в длинном, ниже колен, сюртуке, из воротника которого выступает большой белоснежный галстук; магометанский мулла – в бело-зеленой чалме. У ворот, ведущих в манеж и конюшню, расположился училищный оркестр. Ротные командиры и курсовые офицеры при своих ротах. Посередине и впереди батальонный командир Артабалевский, по юнкерскому прозвищу Берди-Паша, узкоглазый, низко стриженный татарин; его скуластое, плотное лицо, его широкая спина и выпуклая грудь кажутся вылитыми из какого-то упругого огнеупорного материала.

Заметив издали начальника училища, выходящего из своей квартиры, он командует: «Смирно, глаза направо!» Начальник училища, генерал Анчутин, приближается к строю. Он необыкновенно высок, на целую голову выше правого флангового юнкера первой роты, и веско внушителен, пожалуй даже величествен. Юнкера его зовут Статуей Командора. И правда, он похож на Каменного гостя, когда изредка, не более пяти-шести раз в год, он проходит медленно

и тяжело по училищному квадратному коридору, прямой, как башня, похожий на Николая I, именно на портрет этого императора, что висит в сборном зале; с таким же высоким куполообразным лбом, с таким же суровым и властным выражением лица. С юнкерами он никогда не здоровается вслух. Да у него и нет вовсе голоса, а какое-то слабое сипение.

Под Рушуком, командуя Ростовским гренадерским полком, он был ранен пулей в горло навyleт и с тех пор дышит через серебряную трубку. За военные подвиги в Турецкую войну он был пожалован пожизненным ношением мундира Ростовского полка и почетным местом начальника Александровского училища. При его молчаливо-торжественном обходе юнкера поочередно делают ему глубокие придворные поклоны, которым их на уроках танцев беспрестанно учит балетмейстер Большого театра, Петр Алексеевич Ермолов. И в ответ на эти поклоны, строго выдержанные в три темпа, Анчутин только опускает и подымает веки... Впрочем, однажды Александрову довелось услышать хоть и очень краткую, но цельную речь ростовского генерала, которую он не забыл в течение всей своей жизни.

Напрягая все силы испорченных горловых связок, замогильным, шипящим голосом приветствует Анчутин батальон:

– Здравствуй, юнкера!

Задним совсем не слышен его голос; они следят за движением губ; эта уловка была уже много раз заранее репетирована.

– Здравия желаем, ваше превосходительство!

Анчутин слегка, едва заметно, кивает головой священникам и делает глазами знак командиру батальона.

Полковник Артабалевский выходит перед серединой батальона. Азиатское лицо его напрягается.

– Под знамя! – командует он резким металлическим голосом и на секунду делает запяную. – Слушааай (небольшая пауза)... На крааа (опять пауза)... – И вдруг, коротко и четко, как удар конского бича: – ...ул!

Фараонам нельзя поворачивать голов, но глаза их круто скошены направо, на полубатальон второкурсников. Раз! Два! Три! Три быстрых и ловких дружных приема, звучащих, как три легких всплеска. Двести штыков уперлись прямо в небо; сверкнув серебряными остриями, замерли в совершенной неподвижности, и в тот же момент великолепный училищный оркестр грянул торжественный, восхищающий души, радостный марш.

Знамя показалось высоко над штыками, на фоне густо-синего октябрьского неба. Золотой орел на вершине древка точно плыл в воздухе, слегка подымаясь и опускаясь в такт шагам невидимого знаменщика.

Знамя остановилось у аналая. Раздалась команда: «На молитву! Шапки долой!» – И затем послышался негромкий тягучий голос батальонного священника, отца Иванцова-Платонова:

– Сложите два перста... вот таким вот образом, и подымите их вверх. Теперь повторяйте за мною слова торжественной военной присяги.

Юнкера зашевелились и сейчас же опять замерли с пальцами, устремленными в небо.

– Обещаюсь и клянусь, – произнес нараспев священник.

Точно ветер пробежал по рядам: «Обещаюсь, обещаюсь, клянусь, клянусь, клянусь...»

– Всемогущим Богом, перед святым его Евангелием.

И опять по строю пронесся густой, тихий ропот:

– Перед Богом, перед Богом...

– В том, что хочу и должен...

Формула присяги, составленная еще Петром Великим, была длинна, точна и строга. От иных ее слов становилось жутко.

«Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед святым Его Евангелием, в том, что хочу и должен его императорскому величеству, самодержцу всероссийскому и его императорского величества всероссийского престола наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови, и все к высокому его императорского величества самодержавству, силе и власти принадлежащая права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности, исполнять.

Его императорского величества государства и земель его врагов, телом и кровию, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к его императорского величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. Об ущербе же его императорского величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведая, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допускать потщуся и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, а предпоставленным над мною начальникам во всем, что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание и все по совести своей исправлять и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды против службы и присяги не поступать; от команды и знамени, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду и во всем так себя вести и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному офицеру (солдату) надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий. В заключение сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь».

Но еще страшнее были те выдержки из регламента, которые вслед за присягою стал вычитывать батальонный адъютант, поручик Лачинов, с волосами светлыми и курчавыми, как у барашка. Тут перечислялись всевозможные виды поступков и преступлений против военной дисциплины, против знамени и присяги. И после каждой строки тяжело падали вниз свинцовые слова:

– Смертная казнь... Смертная казнь!

Впечатлительный Александров успел уже раз десять вообразить себя приговоренным к смерти, и волосы у него на голове порою холодели и делались жесткими, как у ежа. Зато очень утешили и взбодрили его дух отрывки из статута ордена св. Георгия-победоносца, возглашенные тем же Лачиновым. Слушая их ушами и героическим сердцем, Александров брал в воображении редуты, заклепывал пушки, отнимал вражеские знамена, брал в плен генералов...

Затем юнкера целовали поочередно крест и Евангелие и возвращались на свои места.

– На-кройсь! – скомандовал Берди-Паша. – Под знамя, слушай, на кра-ул!

Знамя было унесено. Церемония присяги кончилась. Юнкера строем разошлись по ротным помещениям.

Стоя перед двумя шеренгами первокурсников, Дрозд говорит, слегка покачиваясь взад и вперед на носках:

– Ну-э-вот. Вы теперь настоящие юнкера. Поздравляю вас.

– Рады стараться, ваше высокоблагородие!

– Но все-таки вы-э-не забывайте, что настоящее ваше звание – солдаты. Солдат есть имя высокое и знаменитое. Первейший генерал, последний рядовой – то есть солдат. И потому помните, что за особо важный против дисциплины поступок каждый из вас может быть прямо из училища отправлен вовсе не домой к папе, маме, дяде и тете, а рядовым в пехотный полк... Надеюсь, в моей роте этого никогда не случится, как, впрочем, и во всем училище почти никогда не случалось... Но помните: за лень, невниманье, разнузданность, расхлябанность и особенно за ложь буду гнать и греть без всякой пощады. И за унылый вид – тоже. А теперь, кто хочет, могут идти в отпуск. Явиться завтра дежурному офицеру не позднее восьми часов вечера. За каждую минуту опоздания – одно лишнее дневальство. На улице держать себя молодцами и кавалерами. Отныне вы – под знаменем! Разойтись.

Как странно, как легко и как чудесно ново чувствовал себя Александров, очутившись на Знаменской улице, на людной и все-таки очень широкой Арбатской площади и, наконец, на Поварской с ее двухэтажными прекрасными аристократическими особняками! Натренированные ноги, делая большие и уверенные шаги, точно не касались тротуара. Веселило чувство красивого, ловко пригнанного, туго обтянутого мундира. Свежие тесные белые перчатки радовали руки и зрение. «Кому первому придется отдать честь?» – задумал Александров, и тотчас же из узкого переулочка навстречу ему вышел артиллерийский поручик. Александров тотчас же быстро приложил руку к бескозырке. Но артиллерист, мило улыбнувшись, принял честь и сказал:

– Опустите руку, господин юнкер. Ну, что? Я ошибаюсь или нет? Вы сегодня принимали присягу? Правда?

– Так точно, господин поручик. Как вы могли узнать?

– Ах, очень просто. По выражению лица. Я как увидел вас, так и сделал себе такое же лицо, и сразу подумал: вот такое выражение было у меня после присяги. И даже в том же милom Александровском училище. Ну, желаю вам всего хорошего. С богом!

Они крепко пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. «Какой, однако, душка этот маленький артиллерист», – с умилением подумал Александров.

Потом он сделал подряд две грубые ошибки. Стал – и даже очень красиво стал – во фронт двум генералам: но один оказался отставным, а другой интендантским. Первый раза три или четыре торопливо ответил юнкеру отданием чести, а второй сказал ему густым приветливым басом: «Очень рад, молодой человек, очень, очень рад вас увидеть и с вами познакомиться».

Прошел месяц. Александровское училище давало в декабре свой ежегодный блестящий бал, попасть на который считалось во всей Москве большим почетом. Александров послал Синельниковым три билета (больше не выдавалось). В вечер бала он сильно волновался. У юнкеров было взаимное соревнование: чьи дамы будут красивее и лучше одеты.

Огромный сборный зал, свободно вмещавший четыреста юнкеров, был обращен в цветник, в тропический сад. Ротные курилки и умывалки обратились в изящные дамские уборные, знаменитый оркестр Крейнбринга уже настраивал под сурдинку инструменты.

Уже в двадцатый раз Александров перевешивался через массивные дубовые перила, заглядывая вниз в прихожую, застланную красным сукном, отыскивая своих дам, чтобы успеть помочь им раздеться. И вот наконец-то они. Пулею слетает Александров вниз. Но их только двое – Оля и Люба в сопровождении Петра Ивановича Боброва, какого-то молодого юриста, который живет у Синельниковых под видом дяди и почти никогда не показывается гостям. Он во фраке.

На обеих девочках вязанные пышные капоры: на Оле голубой, на Любе розовый. Эти капоры новинка. Их только в нынешнем году начали носить в Москве, и они так же очаровательно идут к юным женским лицам, разрумяненным морозом, как шли когда-то шляпки глубокой кибиточкой, завязанной широкими лентами. Пахнет от девочек вкусно – арбузом, морозом, духами иланг-иланг, и мехом шубок, и свежим дыханием. Они поправляются перед огромным зеркалом и идут за Александровым наверх.

– А что же Юлия Николаевна? – спрашивает юнкер.

– Она очень жалеет, что не может быть у вас на балу. Она сегодня очень занята. Она поздравляет вас с праздником и велела передать вам вот этот сверток. Там подарок вам на память. Возьмите.

Александров провожает дам в обширный зал. Оркестр нежно, вкрадчиво, заманчиво играет штраусовский вальс. Дамы Александра производят сразу блистательное впечатление.

Юнкера, как пчелы, облепляют их.

У Александрова остается свободная минутка, чтобы побежать в свою роту, к своему шкафчику. Там он разворачивает белую бумагу, в которую заворочена небольшая картонка. А в картонке на ватной постельке лежит фарфоровая голубоглазая куколка. Он ищет письмо. Нет, одна кукла. Больше ничего.

Он возвращается в зал. Ольга свободна. Он приглашает ее на вальс. Гибко, положив нагую руку на его плечо и слегка грациозно склонив голову, она отдается волшебному ритму вальса, легко кружась в нем. Глаза их на мгновение встречаются. В глазах ее томное упоение.

– Теперь я скажу вам о вашей Юлии, – шепчет она горячим и ароматным дыханием. – У нас сегодня помолвка. Юлия выходит замуж за Покорни.

И сам Александров удивляется своему спокойствию, с которым он встречает эту черную весть. Он таким же горячим шепотком говорит:

– Дай ей бог счастья. Но мне это все равно. Я давно уже и до смерти люблю вас, Оля.

И она отвечает, поправляя свои разбежавшиеся кудряшки:

– Ах! Если бы я могла этому верить!

И задорно смеется.

Глава VIII Торжество

Прошло около двух месяцев со вступления Александрова в белые стены училища. Хотя он еще долгое время, как юнкер младшего класса, будет носить общее прозвище «фараон» (старший курс – это господа обер-офицеры), но из него уже вырабатывается настоящий юнкер-александровец. Он всегда подтянут, прям, ловок и точен в движениях. Он гордится своим училищем и ревностно поддерживает его честь. Он бесповоротно уверен, что из всех военных училищ России, а может быть, и всего мира, Александровское училище самое превосходное. И это убеждение, кажется ему, разделяет с ним и вся Москва – Москва, которая так пристрастно и ревниво любит все свое, в пику чиновному и холодному Петербургу: своих лихачей, протодиаконов, певцов, актеров, кулачных бойцов, купцов, профессоров, певчих, поваров, архиереев и, конечно, своих стройных, молодых, всегда прекрасно одетых, вежливых юнкеров со Знаменки, с их чудесным, несравненным оркестром.

Живется юнкерам весело и свободно. Учиться совсем не так трудно. Профессора – самые лучшие, какие только есть в Москве. Искусство строевой службы доведено до блестящего совершенства, но оно не утомляет: оно граничит со спортивным соревнованием. Правда, его однообразие чуть-чуть прискучивает, но домашние парады с музыкой в огромном манеже на Моховой вносят и сюда некоторое разнообразие. А кроме того, строевое старание поддерживается далекой, сладкой, сказочной мечтой о царском смотре или царском параде. Каждому юнкеру втайне кажется несправедливостью судьбы, что государь живет не в Москве, а в Питере. Но об этом не говорят.

В октябре 1888 года по Москве разнесся слух о крушении царского поезда около станции Борки. Говорили смутно о злостном покушении. Москва волновалась. Потом из газет стало известно, что катастрофа чудом обошлась без жертв. Повсюду служились молебны, и на всех углах ругали вслух инженеров с подрядчиками. Наконец пришли вести, что Москва ждет в гости царя и царскую семью: они приедут поклониться древним русским святыням.

Все эти слухи и вести проникают в училище. Юнкера сами не знают, чему верить и чему не верить. Как-то нелепо странна, как-то уродливо неправдоподобна мысль, что государю, вершинной, единственной точке той великой пирамиды, которая зовется Россией, может угрожать опасность и даже самая смерть от случайного крушения поезда. Значит, выходит, что и все

существование такой необъятно большой, такой неизмеримо могучей России может зависеть от одного развинтившегося дорожного болта.

Утром, после переклички, фельдфебель Рукин читает приказ: «По велению государя императора встречающие его части Московского гарнизона должны быть выведены без оружия. По распоряжению коменданта г. Москвы войска выстроятся шпалерами в две шеренги от Курского вокзала до Кремля. Александровское военное училище займет свое место в Кремле от Золотой решетки до Красного крыльца. По распоряжению начальника училища батальон выйдет из помещения в 11 час.».

Ровно в полдень в центре Кремля, вдоль длинного и широкого дубового помоста, крытого толстым красным сукном, выстраиваются четыре роты юнкеров Третьего военного Александровского училища. Четыреста юношей в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. Юнкер четвертой роты Алексей Александров стоит в первой шеренге. Царь пройдет мимо него в трех-четырех шагах, ясно видимый, почти осязаемый. Воображению Александрова «царь» рисуется золотым, в готической короне, «государь» – ярко-синим с серебром, «император» – черным с золотом, а на голове шлем с белым султаном.

Ждут долго. Вывели за два часа, по необычайному случаю. Еще в училище свои портупей-юнкера и ротные офицеры осматривали каждого с заботливостью матери, отправляющей шестнадцатилетнюю дочь на первый бал. Теперь в Кремле нет-нет подойдет курсовой офицер, одернет складку шинели, поправит поясную медную бляху с изображением пылающей гранаты, надвинет еще круче на правый глаз круглую барашковую шапку с начищенным двуглавым орлом. Государь, конечно, все заметит своим сверхчеловеческим взором: и недотянутый конец башлыка, и неровно надетую шапку, и вздувшуюся складку. Заметит, но никому не скажет, только огорчится на александровцев. Сияет над Кремлем голубое холодное небо. Золото солнца расплескалось на соборных куполах, высоко кружатся голуби. Осенний запах.

Ожидание не томит. Все радостно и легко возбуждены. Давно знакомые молодые лица кажутся совсем новыми; такими они стали свежими, ясными и значительными, раздумываясь и похорошев в крепком осеннем воздухе.

В голове как шампанское. Скользит смутно одна опасливая мысль: так необыкновенно, так нетерпеливо волнуют эти счастливые минуты, что, кажется, вдруг перегоришь в ожидании, вдруг не хватит чего-то у тебя для самого главного, самого большого.

И вот какое-то внезапное беспокойство, какая-то быстрая тревога пробегает по расстроенным рядам. Юнкера сами выпрямляются и подтягиваются без команды. Ухо слышит, что откуда-то справа далеко-далеко раздается и нарастает особый, до сих пор неразличимый шум, подобный гулу леса под ветром или прибоем невидимого моря.

Командуют «смирно». Выравнивают. Опять «смирно». Потом на минуту «вольно». Опять «смирно». Позволяют размять ноги, не передвигая ступней. Так без конца. Так бывает всегда на парадах. Но на этот раз из юнкеров никто не обижается.

Какими словами мог бы передать юнкер Александров это медленно наплывающее чудо, которое должно вскоре разрешиться бурным восторгом, это страстное напряжение души, растущее вместе с приближающимся ревом толпы и звоном колоколов. Вся Москва кричит и звонит от радости. Вся огромная, многолюдная, крепкая старая царица Москва. Звонят и Благовещенский, и Успенский соборы, и Спас за решеткой, и, кажется, загремел сам Царь-колокол и загрохотала сама Царь-пушка!

А когда в этот ликующий звуковой ураган вплетают свои веселые медные звуки полковые оркестры, то кажется, что слух уже пресыщен – что он не вместит больше.

Но вот заиграл на правом фланге и их знаменитый училищный оркестр, первый в Москве. В ту же минуту в растворенных настежь сквозных золотых воротах, высясь над толпой, показывается царь. Он в светлом офицерском пальто, на голове круглая низкая барашковая шапка. Он величествен. Он заслоняет собою все окружающее. Он весь до такой степени исполнен

нечеловеческой мощи, что Александров чувствует, как гнется под его шагами массивный дуб помоста.

Царь все ближе к Александрову. Сладкий острый восторг охватывает душу юнкера и несет ее вихрем, несет ее ввысь. Быстрые волны озноба бегут по всему телу и приподнимают ежом волосы на голове. Он с чудесной ясностью видит лицо государя, его рыжеватую, густую, короткую бороду, соколиные размахи его прекрасных союзных бровей. Видит его глаза, прямо и ласково устремленные в него. Ему кажется, что в течение минуты их взгляды не расходятся. Спокойная, великая радость, как густой золотой песок, льется из его глаз.

Какие блаженные, какие возвышенные, навеки незабываемые секунды! Александрова точно нет. Он растворился, как пылинка, в общем многомиллионном чувстве. И в то же время он постигает, что вся его жизнь и воля, как жизнь и воля всей его многомиллионной родины, собралась, точно в фокусе, в одном этом человеке, до которого он мог бы дотянуться рукой, собралась и получила непоколебимое, единственное, железное утверждение. И оттого-то рядом с воздушностью всего своего существа он ощущает волшебную силу, сверхъестественную возможность и жажду беспредельного жертвенного подвига.

Около государя идет наследник. Александров знает, что наследник на целый год старше его, но рядом с отцом цесаревич кажется худеньким стройным мальчиком. Это сопоставление великолепного тяжкого мужского могущества с отроческой гибкой слабостью на мгновение пронизывает сердце юнкера теплой, чуть-чуть жалостливой нежностью.

Теперь он не упускает из вида спины государя, но острый взгляд в то же время щелкает своим верным фотографическим аппаратом. Вот царица. Она вовсе маленькая, но какая изящная. Она быстро кланяется головой в обе стороны, ее темные глаза влажны, но на губах легкая милая улыбка.

Видит он еще двух великих княжен. Одна постарше, другая почти девочка. Обе в чем-то светлом. У обеих из-под шляпок падают до бровей обретенные прямой челочкой волосы. Младшая смеется, блестит глазами и зажимает уши: оглушительно кричат юнкера славного Александровского училища.

Но вот и проходит волшебное сновидение. Как чересчур быстро! У всех юнкеров бурное напряжение сменяется тихой счастливой усталостью. Души и тела приятно распускаются. Идут домой под звуки резвого, бодрого марша. Кто-то говорит в рядах:

– Государь все время на меня глядел, когда проходил мимо. Я думаю, целых полминуты.

Другой отзывается:

– А на меня, пожалуй, целую минуту.

Александров же думает про себя: «Говорите, что хотите, а на меня царь глядел не отрываясь целых две с половиной минуты. И маленькая княжна взглянула смеясь. Какая она прелесть!»

Во дворе училища командир батальона, полковник Артабалевский, он же Берди-Паша, задерживает на самое короткое время юнкеров в строю.

– Конечно, великое счастье узреть его императорское величество государя императора, всероссийского монарха. Однако никак нельзя высовывать вперед головы и разрознивать этим равнение... Государь пожаловал нам два дня отдыха. Ура его императорскому величеству!

Глава IX

Свой дом

Проходят дни, проходят недели... Юнкер четвертой роты, первого курса Третьего военного Александровского училища Александров понемногу, незаметно для самого себя, втягивается в повседневную казарменную жизнь, с ее точным размеренным укладом, с ее внутренними законами, традициями и обычаями, с привычными, давнишними шутками, песнями и прока-

зами. Недавняя торжественная присяга как бы стерла с молодых фараонов последние следы ребяческого, полустатского кадетства, а парад в Кремле у Красного крыльца объединил всех юнкеров в духе самоуверенности, военной гордости, радостной жертвенности, и уже для него училище делалось «своим домом», и с каждым днем он находил в нем новые маленькие прелести. Разрешалось курить в свободное время между занятиями. Для этого в каждой роте полагалась отдельная курилка: признание юнкерской взрослости. После обеда можно было посылать служителя за пирожными в соседнюю булочную Савостьянова. Из отпуска нужно было приходить секунда в секунду, в восемь с половиной часов, но стоило заявить о том, что пойдешь в театр, – отпуск продолжается до полуночи. По большим праздникам юнкеров, оставшихся в училище, часто возили в цирк, в театр и на балы. Отношения с начальством утверждались на правдивости и широком взаимном доверии. Любимчиков не было, да их и не потерпели бы. Случались офицеры слишком строгие, придирчивые трынчики, слишком скорые на большие взыскания. Их терпели как божью кару и травили в ядовитых песнях. Но никогда ни один начальник не решался закричать на юнкера или оскорбить его словом. Тут щетинилось все училище.

Помещение училища (бывшего дворца богатого вельможи) было, пожалуй, тесновато для четырехсот юнкеров в возрасте от восемнадцати до двадцати лет и для всех их потребностей. В середине полуторазэтажного здания училища находился большой, крепко утрамбованный четырехугольный учебный плац. Со всех сторон на него выходили высокие крылья четырех ротных помещений. Впоследствии Александрова часто удивляла и даже порою казалась невероятной вместительность и емкость училищного здания, казавшегося снаружи таким скромным. Между третьей и четвертой ротами вмещался обширный сборный зал, легко принимавший в себя весь наличный состав училища, между первой и второй ротами – восемь аудиторий, где читались лекции, и четыре большие комнаты для репетиций. В верхнем этаже были еще: домашняя церковь, больница, химическая лаборатория, баня, гимнастический и фехтовальный залы.

В нижнем полуэтаже жил офицерский состав: холостые с денщиками, женатые с семьями и прислугой, четверо ротных командиров, инспектор классов, батальонный командир, начальник училища, батальонный адъютант, священник с причтом, доктор с фельдшерами. Была, конечно, и многолюдная канцелярия. Но никто не знал, где она находится. Также неизвестно было юнкерам, где и как существуют люди, обслуживающие их жизнь: все эти прачки, полотеры, музыканты, ламповщики, служители, портные, дворники, швейцары, истопники и повара. Вследствие такого обилия людей всюду чувствовалась некоторая сжатость. Учить лекции и делать чертежи приходилось в спальне, сидя боком на кровати и опираясь локтями на ясеневый шкафчик, где лежали обувь и туалетные принадлежности. По ночам тяжело было дышать, и приходилось открывать форточки на улицу. Но – пустяки! Все переносила весело крепкая молодежь, и лазарет всегда пустовал, разве изредка – ушиб или вытяжение жилы на гимнастике, или, еще реже, такая болезнь, о которой почему-то не принято говорить.

Как всегда во всех тесных общежитиях, так и у юнкеров не переводился – большей частью невинный, но порою и жестокий – обычай давать летучие прозвища начальству и соседям. К этой языкатой травле очень скоро и приучился Александров.

Первая рота, которая нарочно подбиралась из молодежи высокого роста и выдающейся стройности, носила официальное название роты его императорского величества и в отличие от других имела серебряный вензель на мундирных погонах. Упрощенный ее титул был: жеребцы его величества.

Ею командовал капитан Алкалаев-Калагеоргий, но юнкера как будто и знать не хотели этого старого боевого громкого имени. Для них он был только Хухрик, а немного презрительнее – Хухра.

Никто из всех юнкеров училища не сумел бы объяснить, что означает это загадочное слово – Хухрик: маленького ехидного зверька, или мех, или какое-то колючее растение, или злоторный настой, или особую болезнь вроде чирья. Однако с этим прозвищем была связана маленькая легенда. Однажды батальон Александровского училища на пробном маневре совершал очень длинный и тяжелый переход. Юнкера со скатанными шинелями и с ранцами с полной выкладкой, шанцевым инструментом и частями разборных палаток чуть не падали от зноя, усталости и жажды. Запотелые их лица, густо покрытые черноземной мягкой пылью, были черны, как у негров, и так же, как у негров, блестели на них покрасневшие глаза и сверкали белые крепкие зубы.

Наконец-то долгожданный привал. «Стой. Составь ружья. Оправиться!» – раздается в голове колонны команда и передается из роты в роту. Богатая подмосковная деревня. Зелень садов и огородов, освежающая близость воды. Крестьянские бабы и девушки высыпают на улицу и смеются. Охотно таскают воду из холодного колодца, дают юнкерам вволю напиться; льют и плескают воду им на руки, обмыть горячие лица и грязные физиономии. Притащили яблок, слив, огурцов, сладкого гороха, суют в руки и карманы. Веселый смех, непринужденные шутки и прикосновения. Всегдашняя извечная сказочная симпатия к солдату и жалость к трудности его подневольной службы.

– И как это вы, бедные солдатики, страдаете? Жарища-то, смотри, кака адова, а вы в своей кислой шерсти, и ружья у вас аки тяжеленные. Нам не вподъем. На-ко, на-ко, солдатик, возьми еще яблочко, полегче станет.

Конечно, эта ласка и «жаль» относилась большей частью к юнкерам первой роты, которые оказывались и ростом поприметнее и наружностью покраше. Но командир ее Алкалаев почему-то вознегодовал и вскипел. Неизвестно, что нашел он предосудительного в свободном ласковом обращении веселых юнкеров и развязных крестьянок на открытом воздухе, под пылающим небом: нарушение ли какого-нибудь параграфа военного устава или порчу моральных устоев? Но он заштитился и забубнил:

– Сейчас же по местам, юнкера. К винтовкам. Стоять вольно-а, рядов не разравнивать!

– Таратов, чему вы смеетесь? Лишнее дневальство! Фельдфебель, запишите!

Потом он накинулся было на ошалевших крестьянок.

– Чего вы тут столпились? Чего не видали? Это вам не балаган. Идите по своим делам, а в чужие дела нечего вам соваться. Ну, живо, кыш-кыш-кыш!

Но тут сразу взъерепенилась крепкая, красивая, румяная сквозь веснушки, языкатая бабенка:

– А тебе что нужно? Ты нам что за генерал? Тоже кышкает на нас, как на кур! Ишь ты, хухрик несчастный! – И пошла, и пошла... до тех пор, пока Алкалаев не обратился в позорное бегство. Но все-таки метче и ловче словечка, чем «хухрик», она в своем обширном словаре не нашла. Может быть, она вдохновенно родила его тут же на месте столкновения?

«И в самом деле, – думал иногда Александров, глядя на случайно проходившего Калагеоргия. – Почему этому человеку, худому и длинному, со впадинами на щеках и на висках, с пергаментным цветом кожи и с навсегда унылым видом, не пристало бы так клейко какое-нибудь другое прозвище? Или это свойство народного языка, мгновенно изобретать ладные словечки?»

Курсовыми офицерами в первой роте служили Добронравов и Рославлев, поручики. Первый почему-то казался Александрову похожим на Добролюбова, которого он когда-то пробовал читать (как писателя запрещенного), но от скуки не дотянул и до четверти книги. Рославлев же был увековечен в прощальной юнкерской песне, являвшейся плодом коллективного юнкерского творчества, таким четверостишием:

Прощай, Володька, черт с тобою,

Развратник, пьяница, игрок.
Недаром дан самой судьбою
Тебе хронический порок.

Этот Володька был велик ростом и дороден. Портили его массивную фигуру ноги, расхоdivшиеся в коленях наружу, иксом. Рассказывали про него, что однажды он, на пьяное пари, остановил ечкинскую тройку на ходу, голыми руками. Он был добр и не придирчив, но симпатиями у юнкеров не пользовался. Из ложного молодечества и чтобы подольститься к молодежи, он часто употреблял грязные, похабные выражения, а этого юнкера в частном обиходе не терпели, допуская непечатные слова в прощальную песню, называвшуюся также звериадой. Надо сказать, что это заглавие было плагиатом. Оно какими-то неведомыми путями докатилось в белый дом на Знаменке из Николаевского кавалерийского училища, где существовало со времен лермонтовского юнкерства.

Московская звериада вдохновлялась музою хромой и неизобретательной, домашняя же ее поэзия была суковатая...

Володька Рославлев прервал свою начальственно-педагогическую деятельность перед Японской войною, поступив в московскую полицию.

Вторую роту звали зверями. В нее как будто специально поступали юноши крепко и широко сложенные, также рыжие и с некоторою корявостью. Большинство носило усики, усы и даже усищи. Была и молодежь с короткими бородами (времена были Александра Третьего).

Отличалась она серьезностью, малой способностью к шутке и какой-то (казалось Александру) нелюдимостью. Но зато ее юнкера были отличные фронтовики, на парадах и батальонных учениях держали шаг твердый и тяжелый, от которого сотрясалась земля. Командовал ею капитан Ключенко, ничем не замечательный, аккуратный службист, большой, морковно-рыжий и молчаливый. Звериада ничего не могла про него выдумать острого, кроме следующей грубой и мутной строфы:

Прощай, Ключенко, рыжий пес,
С своею рожею ехидной.
Умом до нас ты не дорос,
Хотя мужчина очень видный.

Почему здесь состязание в умах – непонятно. А ехидности в наружности Ключенки никакой не наблюдалось. Простое, широкое, голубоглазое (как часто у рыжих) лицо примерного армейского штаб-офицера, с привычной служебной скукой и со спокойной холодной готовностью к исполнению приказаний.

Курсовым офицером служил капитан Страдовский, по-юнкерски – Страделло, прибывший в училище из императорских стрелков. Был он всегда добр и ласково-весел, но говорил немного. Напуск на шароварах доходил у него до сапожных носков.

Был он мал ростом, но во всем Московском военном округе не находилось ни одного офицера, который мог бы состязаться со Страдовским в стрельбе из винтовки. К тому же он рубился на эскадронах, как сам пан Володыевский из романа «Огнем и мечом» Генриха Сенкевича, и даже его малорослость не мешала ему побеждать противников.

Уже одного из этих богатых даров достаточно было бы, чтобы приобрести молчаливую любовь всего училища.

Третья рота была знаменная. При ней числилось батальонное знамя. На смотрах, парадах, встречах, крещенском водосвятии и в других торжественных случаях оно находилось при третьей роте. Обыкновенно же оно хранилось на квартире начальника училища.

Знаменная рота всегда на виду, и на нее во время торжеств устремляются зоркие глаза высшего начальства. Потому-то она и составлялась (особенно передняя шеренга) из юношей с наиболее красивыми и привлекательными лицами. Красивейший же из этих избранных красавцев, и непременно портупей-юнкер, имел высочайшую честь носить знамя и называться знаменщиком. В том году, когда Александров поступил в училище, знаменщиком был Кениг, его однокорпусник, старше его на год.

В домашнем будничном обиходе третья рота называлась «мазочки» или «девочки». Ею уже давно командовал капитан Ходнев, неизвестно когда, чем и почему прозванный Варварой, – смуглый, черноволосый, осанистый офицер, никогда не смеявшийся, даже не улыбнувшийся ни разу; машина из стали, заведенная однажды на всю жизнь, человек без чувств, с одним только долгом. Говорил он четким, приятного тембра баритоном и заметно в нос. Ни разу никто не видел его сердитым, и ни разу он не повысил голоса. Передавал ли он, по обязанности, похвалу юнкеру, или наказывал его – все равно, тон Варвары звучал одинаково точно и бесстрастно. Его не то чтобы боялись, но никому и в голову не приходило слушаться его одного стального, магнетического взора. Таких вот людей умел живописать краткими резкими штрихами покойный Виктор Гюго. И юнкера в своей звериаде, по невольному чутью, сдержали обычную словоохотливость.

Прощай, Варвара-командир,
Учитель правил и сноровок,
Теперь надели мы мундир,
Не надо нам твоих муштровок.

Из курсовых офицеров третьей роты поручик Темирязов, красивый, стройный светский человек, был любимцем роты и всего училища и лучше всех юнкеров фехтовал на рапирах. Впрочем, и с самим волшебником эскрима, великим Пуарэ, он нередко кончал бой с равными количествами очков.

Но другой курсовой представлял собою какое-то печальное, смешное, вздорное и случайное недоразумение. Он был поразительно мал ростом, гораздо меньше самого левофлангового юнкера четвертой роты, и притом коротконог. В довершение он был толст, и шея у него сливалась с подбородком. Благодаря тесному мундиру лицо его имело багрово-красный цвет. Фамилия его была хорошая и очень известная в Москве – Дубышкин. Но вот он и остался навеки Пупом, и даже в звериаде о нем не было упомянуто ни слова. С него достаточно было одного прозвища – Пуп.

Пуп не был злым, а скорее мелким по существу. Но был он необычайно, непомерно для своего ничтожного роста вспыльчив и честолюбив. Говоря с начальством или сердясь на юнкеров, он совсем становился похожим на индюка: так же он надувался, краснел до лилового цвета, шипел и, теряя волю над словом, болботал путаную ерунду. В те дни, когда Александров учился на первом курсе, у всех старых юнкеров пошла повальная мода пускать Пупу ракету. Кто-нибудь выдумывал смешную глупость, например: «Когда я был маленьким, я спал в папашиной галоше», или: «Ваше превосходительство, юнкер Пистолетов носом застрелился», или еще: «Решительно все равно: что призма и что клизма – это все из одной мифологии» и т. д. Этот вздор автор громко выкрикивал, подражая индюшечьему голосу Дубышкина, и тотчас же принимался со всей силой легких выдувать сплошной шипящий звук. Полагалось, что это взлетела ракета, а чтобы ее лёт казался еще правдоподобнее, пиротехник тряс перед губами ладонью, заставляя звук вибрировать. Наконец, достигнув предельной высоты, ракета громко взрывалась: «Пуп!»

Надо сказать, что этот злой фейерверк пускался всегда с таким расчетом, чтобы Пуп его слышал. Он слышал, злился, портил себе кровь и характер, и, в сущности, нельзя было понять, за что взрослые балбесы травят несчастного смешного человека.

Четвертая рота, в которой имел честь служить и учиться Александров, звалась... то есть она называлась... ее прозвание, за малый рост, было грубо по смыслу и оскорбительно для слуха. Ни разу Александров не назвал его никому постороннему, ни даже сестрам и матери. Четвертую роту звали... «блехи». Кличка несправедливая: в самом малорослом юнкере было все-таки не меньше двух аршин с четырьмя вершками.

Но существует во всей живущей, никогда не умирающей мировой природе какой-то удивительный и непостижимый закон, по которому заживают самые глубокие раны, срастаются грубо разрубленные члены, проходят тяжкие инфекционные болезни, и, что еще поразительнее, – сами организмы в течение многих лет вырабатывают средства и орудия для борьбы со злейшими своими врагами.

Не по этому ли благодетельному инстинктивному закону четвертая рота Александровского училища с незапамятных времен упорно стремилась перегнать прочие роты во всем, что касалось ловкости, силы, изящества, быстроты, смелости и неутомимости. Ее юнкера всегда бывали первыми в плавании, в верховой езде, в прыганье через препятствия, в беге на большие дистанции, в фехтовании на рапирах и эспадронах, в рискованных упражнениях на кольцах и турниках и в подтягивании всего тела вверх на одной руке. И надо еще сказать, что все они были страстными поклонниками циркового искусства и нередко почти всей ротой встречались в субботу вечером на градене цирка Соломонского, что на Цветном бульваре. Их тянули к себе, восхищали и приводили в энтузиазм те необычайные акробатические трюки, которые на их глазах являлись чудесным преодолением как земной тяжести, так и инертности человеческого тела.

Ближайшее ротное начальство относилось к этому увлечению высшей гимнастикой не с особенным восторгом. Дрозд всегда опасался того, что от злоупотребления ею бывают неизбежные ушибы, полумы, вывихи и растяжения жил. Курсовой офицер Николай Васильевич Новоселов, прозванный за свое исключительное знание всевозможных военных указов, наказов и правил Уставчиком, ворчал недовольным голосом, созерцая какую-нибудь «чертову мельницу»: «И зачем? И для чего? В наставлении об обучении гимнастике ясно указаны все необходимые упражнения. А военное училище вам не балаган, и привилегированные юнкера – вовсе не клоуны».

Второй курсовой офицер Белов только покачивал укоризненно головой, но ничего не говорил. Впрочем, он всегда был молчалив. Он вывез с Русско-турецкой войны свою жену, болгарку – даму неопишуемой, изумительной красоты. Юнкера ее видели очень редко, раза два-три в год, не более, но все поголовно и молча преклонялись перед нею. Оттого и личность ее супруга считалась неприкосновенной, окруженной чарами всеобщего табу.

К толстому безмолвному Белову не прилипло ни одно прозвище, а на красавицу, по общему неписаному и несказанному закону, положено было долго не засматриваться, когда она проходила через плац или по Знаменке. Также запрещалось и говорить о ней.

Рыцарские обычаи.

Глава X

Вторая любовь

Конечно, самый главный, самый волнующий визит новоиспеченного юнкера Александрова предназначался в семью Синельниковых, которые давно уже переехали с летней дачи в Москву, на Гороховую улицу, близ Земляного вала, в двух шагах от крашенного в фисташковый цвет Константиновского межевого института. Давно влюбленное сердце юноши горело

и нетерпеливо рвалось к ней, к волоокой богине, к несравненной, единственной, прекрасной Юленьке. Показать перед нею не жалким мальчиком-кадетом, в неуклюже пригнанном пальто, а стройным, ловким юнкером славного Александровского училища, взрослым молодым человеком, только что присягнувшим под батальонным знаменем на верность вере, царю и отечеству, – вот была его сладкая, тревожная и боязливая мечта, овладевавшая им каждую ночь перед падением в сон, в те краткие мгновенья, когда так рельефно встает и видится недавнее прошлое...

Белые замшевые тугие перчатки на руках; барашковая шапка с золотым орлом лихо надвинута на правую бровь; лакированные блестящие сапоги; холодное оружие на левом боку; отлично сшитый мундир, ладно, крепко и весело облегающий весь корпус; белые погоны с красным витым вензелем «А П»; золотые широкие галуны; а главное – инстинктивное сознание своей восемнадцатилетней счастливой ловкости и легкости и той самоуверенной жизнерадостности, перед которой послушно разворачивается весь мир, – разве все эти победоносные данные не тронут, не смягчат сердце суровой и холодной красавицы?.. И все-таки он с невольной ребяческой робостью отдалял и отдалял день и час свидания с нею.

Он до сих пор не мог ни понять, ни забыть спокойных деловых слов Юленьки в момент расставания, там, в Химках, в канареечном уголку между шкафом и пианино, где они так часто и так подолгу целовались и откуда выходили потом с красными пятнами на лицах, с блестящими глазами, с порывистым дыханием, с кружащейся головой и с растрепанными волосами.

Прощаясь, она отвела его руку и сказала голосом наставницы:

– Забудем эти глупые шалости летнего сезона. Теперь мы обое стали большими и серьезными.

И, протягивая ему руку, она сказала:

– Останемся же добрыми друзьями.

Но почему же этот жестокий, оскорбительный удар был так непредвиденно внезапен? Еще три дня назад, вечером, они сидели в густой пахучей березовой роще, и она сказала тихо:

– Тебе так неудобно. Положи голову мне на колени.

Ах, никогда в жизни он не позабудет, как его щека ощутила шершавое прикосновение тонкого и теплого молдаванского полотна и под ним мраморную гладкость крепкого женского бедра. Он стал целовать сквозь материю эту мощную и нежную ногу, а Юлия, точно в испуге, горячо и быстро шептала:

– Нет... Так не надо... Так нельзя.

И в это время гладила ему волосы и прижимала его *губы* к своему телу.

А разве может когда-нибудь изгладиться из памяти Александрова, как иногда, во время бешено крутящегося вальса, Юлия, томно закрывши глаза, вся прикинула вплотную к нему, и он чувствовал через влажную рубашку живое, упругое прикосновение ее крепкой девической груди и легкое щекотание ее маленького твердого соска... О, волшебная власть воспоминаний! А теперь Юлия говорит, точно старая дева, точно классная учительница: «Ах, будемте друзьями». В знойный день человек изнывает от жары и жажды. Губы, рот и гортань у него засохли. А ему вдруг вместо воды дают совет: положи камешек в рот, это обманывает жажду.

Но почему же это отчуждение и этот спокойный холод? Это благоразумие из прописи? Может быть, он надоел ей? Может быть, она влюбилась в другого? Может быть, и в самом деле Александров был для нее только дразнящей летней игрушкой, тем, что теперь начинает называться странным чужим словом – флирт? И, вероятно, никогда бы она не согласилась выйти замуж за пехотного офицера, у которого, кроме жалованья – сорок три рубля в месяц, – нет больше решительно никаких доходов. Правда, она прогнала от себя долговязого, быstroногого Покорни, но мало ли еще в Москве богатых женихов, и вот, в ожидании одного из них, она решила сразу прекратить полуневинную, полудетскую забаву.

Но может быть и то, что мать трех сестер Синельниковых, Анна Романовна, очень полная, очень высокая и до сих пор еще очень красивая дама, узнала как-нибудь об этих воровских поцелуйчиках и задала Юленьке хорошую нахлобучку? Недаром же она в последние химкинские дни была как будто суха с Александровым: или это только теперь ему кажется?

Конечно, всего скорее могла донести матери младшая дочка, четырнадцатилетняя лупоглазая Любочка, большая егиза и ябедница, шантажистка и вымогательница. Зоркие ее глаза видели сквозь стены, а с ней, как с «маленькой», мало стеснялись. Когда старшие сестры не брали ее с собой на прогулку, когда ей необходимо было выпросить у них ленточку, она, устав кланяться, всегда прибегала к самому ядовитому приему: многозначительно кивала головой, загадочно чмокала языком и говорила протяжно:

– Хо-ро-шо же. А я маме скажу.

– Что ты скажешь, дура? Никто тебе не поверит. Мы сами скажем, что ты с гимназистом Чулковым целовалась в курятнике.

– И никто вам не поверит, потому что я маленькая, а мне все поверят, потому что устами младенцев сама истина глаголет... Что, взяли?

В конце концов она добивалась своего: получала пятак и ленту и, скучая, тащилась за сестрами по пыльной дороге.

Вот эта-то стрекоза и могла наболтать о том, что было, и о том, чего не было. Но какой стыд, какой позор для Александрова! Воспользоваться дружбой и гостеприимством милой, хорошей семьи, уважаемой всей Москвой, и внести в нее потаенный разврат... Нет, уж теперь к Синельниковым нельзя и глаз показать и даже квартиру их на Гороховой надо обегать большим крюком, подобно неудачливому вору.

И как же удивлен, потрясен и обрадован был юнкер Александров, когда в конце октября он получил от самой Анны Романовны письмецо такого крошечного размера, который заставил невольно вспомнить о ее рыхлом тучном теле.

*«Дорогой Алексей Николаевич (не решаюсь назвать Алешей юнкера Александровского училища, где, кстати, имел счастье учиться покойный муж). Что вы забыли ваших старых друзей? Приходите в любую субботу, и лучшие всего в близкую. Мы живем по-прежнему на Гороховой. Девочки мои по вас соскучились. Можете привести с собой двух, трех товарищей; чем больше, тем лучше. Потанцуете, попоете, поиграете в разные игры... Ждем.
Ваша А. С.*

Р. С. К 7-ми – 7-ми с пол. час...»

Не без труда удалось Александрову получить согласие у двух товарищей: каждый юнкер дорожил семейным субботним обедом и домашним вечером. Согласились только: его отделенный начальник, второкурсник Андриевич, сын мирового судьи на Арбате, в семье которого Александров бывал не раз, и новый друг его Венсан, полуфранцуз, но по внешности и особенно по горбтому храброму носу – настоящий бордосец; он прибыл в училище из третьего кадетского корпуса и стоял в четвертой роте правофланговым. Ходил он в отпуск к мачехе, которую терпеть не мог.

В субботу юнкера сошлись на Покровке, у той церкви с короною на куполе, где венчалась императрица Елизавета с Разумовским. Оттуда до Гороховой было рукой подать.

Александров начал неловко чувствовать себя, чем-то вроде антрепренера или хлопотливого дальнего родственника. Но потом эта мнительность стерлась, отошла сама собою. Была какая-то особенная магнетическая прелесть и неизъяснимая атмосфера общей влюбленности в этом маленьком деревянном уютном домике. И все женщины в нем были красивы; даже часто менявшиеся и всегда веселые горничные.

Подавали на стол, к чаю, красное крымское вино, тартинки с маслом и сыром, сладкие сухари. Играл на пианино все тот же маленький, рыжеватый, веселый Панков из консерватории, давно сохнувший по младшей дочке Любе, а когда его не было, то заводили механический музыкальный ящик «Монопан» и плясали под него. В то время не было ни одного дома в Москве, где бы не танцевали при всяком удобном случае, до полной усталости.

Дом Синельниковых стал часто посещаться юнкерами. Один приводил и представлял своего приятеля, который в свою очередь тащил третьего. К барышням приходили гимназические подруги и какие-то дальние московские кузины, все хорошенькие, страстные танцорки, шумные, задорные пересмешницы, бойкие на язык, с блестящими глазами, хохотушки. Эти субботние непринужденные вечера пользовались большим успехом.

Так, часто в промежутках между танцами играли в *petits jeux*, в фанты, в свои соседи, в почту, в жмурки, в «барыня прислала», в «здравствуйте, король» и в прочие.

Величественная Анна Романовна почти всегда присутствовала в зале, сидя в большом вольтеровском кресле и грея ноги в густой шерсти умного и кроткого сенбернара Вольфа. Точно с высоты трона, она следила за молодежью с благосклонной поощрительной улыбкой. Ее старшая дочь Юлия была поразительно на нее похожа: и красивым лицом, и большим ростом, и даже будущей склонностью к полноте. Конечно, Александров все еще продолжал уверять себя в том, что он до сих пор влюблен безнадежно в жестокую и что молодое сердце его разбито навсегда.

Но ему уже не удавалось порой обузывать свою острую и смешливую наблюдательность. Глядя иногда поочередно на свою богиню и на ее мать и сравнивая их, он думал про себя: «А ведь очаровательная Юленька все толстеет и толстеет. К двадцати годам ее уже разнесет, совсем как Анну Романовну. Воображаю, каково будет положение ее мужа, если он захочет ласково обнять ее за талию и привлечь к себе на грудь. А руки-то за спиной никак не могут сойтись. Положение!»

Правда, Александров тут же ловил себя с раскаянием на дурных и грубых мыслях. Но он уже давно знал, какие злые, нелепые, уродливые, бесстыдные, позорные мысли и образы теснятся порою в уме человека против его воли.

Но от прошлого он никак не мог отвязаться. Ведь любила же его Юленька... И вдруг в один миг все рухнуло, все пошло прахом, бедный юнкер остался в одиночестве среди просторной и пустой дороги, протягивая руку, как нищий, за подаванием.

Временами он все-таки дерзал привлечь к себе внимание Юленьки настоятельной услужливостью, горячим пожатием руки в танцах, молящим влюбленным взглядом, но она с обидным спокойствием точно не замечала его; равнодушно отходила от него прочь, прерывала его робкие слова громким разговором с кем-нибудь совсем посторонним.

Однажды, когда играли в почту, он послал ей в Ялту краткую записочку:

«Неужели вы забыли, как я обнимал ваши ноги и целовал ваши колени там, далеко в прекрасной березовой роще?» Она развернула бумажку, вскользь поглядела на нее и, разорвав на множество самых маленьких кусочков, кинула, не глядя, в камин. Но со следующей почтой он получил письмецо из города Ялты в свой город Кинешму. Быстрым мелким четким почерком в нем были написаны две строки:

«А вы забыли ту березовую кашу, которой вас в детстве потчевали за глупость и дерзость?»

Тут с окончательной ясностью понял несчастный юнкер, что его скороспешному любовному роману пришел печальный конец. Он даже не обиделся на прозрачный намек на розги. Поймав случайный взгляд Юленьки, он издали серьезно и покорно склонил голову в знак послушания. А когда гости стали расходиться, он в передней улучил минутку, чтобы подойти к Юленьке и тихо сказать ей:

– Вы правы. Я сам вижу, что надоел вам своим приставанием. Это было бестактно. Лучше уже маленькая дружба, чем большая, но лопнувшая любовь.

– Ну вот и умница, – сказала она и крепко пожала своей прекрасной большой, всегда прохладной рукой руку Александрова. – И я вам буду настоящим верным другом.

В следующую субботу он пришел к Синельниковым совсем выздоровевшим от первой любви. Он думал: «А не влюбиться ли мне в Оленьку или в Любочку? Только в какую из двух?»

И в тот же вечер этот господин Сердечкин начал строить куры поочередно обоим барышням, еще не решивши, к чьим ногам положит он свое объемистое сердце. Но эти маленькие девушки, почти девочки, уже умели с чисто женским инстинктом невинно кокетничать и разбираться в любовной вязи. На все пылкие подходы юнкера они отвечали:

– Нет уж, пожалуйста! Все эти ваши комплименты, и рыцарства, и ухаживанья, все это, пожалуйста, обращайтесь к Юленьке, а не к нам. Слишком много чести!

Глава XI

Свадьба

Приходит день, когда Александров и трое его училищных товарищей получают печатные бристольские карточки с приглашением пожаловать на бракосочетание Юлии Николаевны Синельниковой с господином Покорни, которое последует такого-то числа и во столько-то часов в церкви Константиновского межевого института. Свадьба как раз приходилась на отпускной день, на среду. Юнкера с удовольствием поехали.

Большая Межевая церковь была почти полна. У Синельниковых, по их покойному мужу и отцу, полковнику генерального штаба, занимавшему при генерал-губернаторе Владимире Долгоруком очень важный пост, оказалось в Москве обширное и блестящее знакомство. Обряд венчания происходил очень торжественно: с певчими из капеллы Сахарова, со знаменитым протодиаконом Успенского собора Юстовым и с полным ослепительным освещением, с нарядной публикой.

Под громкое радостное пение хора «Гряди, гряди, голубица от Ливана» Юлия, в белом шелковом платье, с огромным шлейфом, который поддерживали два мальчика, покрытая длинной сквозной фатою, не спеша, величественно прошла к амвону. Ее сопровождал гул восхищения. Своим шафером она выбрала представительного, высокого Венсана, и Александров сам не знал: обижаться ли ему на это предпочтение, или, наоборот, благодарить невесту за ту деликатность, с которой она избавила его от лишних мучений ревности. Только почему же Венсан еще накануне не уведомил о чести, которой удостоился? Надо будет сказать ему, что это – свинство.

Громадный протодиакон с необыкновенно пышными завитыми рыжими волосами трубил нечеловечески густым, могучим и страшным голосом: «Жена же да убоится му-у-ужа...» – и от этих потрясающих звуков дрожали и звенели хрустальные призмочки люстр и чесалась переносица, точно перед чиханьем. Молодых водили в венцах вокруг аналоя с пением «Исаия ликуй: се дева име во чреве»; давали им испить вино из одной чаши, заставили поцеловаться и обменяться кольцами. Много раз священник и протодиакон упомянули о чреве, рождении и обильном многоплодии. Служба шла в быстром, оживленном, веселом темпе.

Александров стоял за колонкой, прислонясь к стене и скрестив руки на груди по-наполеоновски. Он сам себе рисовался пожилым, много пережившим человеком, перенесшим тяжелую трагедию великой любви и ужасной измены. Опустив голову и нахмутив брови, он думал о себе в третьем лице: «Печать невыразимых страданий лежала на бледном челе несчастного юнкера с разбитым сердцем»...

Когда венчание окончилось и приглашенные потянулись поздравить молодых, несчастный юнкер столкнулся с Оленькой и спросил ее:

– А что, Ольга Николаевна, хотели бы вы быть на месте Юленьки?

Она заиграла лукавыми, темными глазами.

– Ну уж, благодарю вас. Покорни вовсе не герой моего романа.

– Ах, я не то хотел сказать, – поправился Александров. – Но венчание было так великолепно, что любая барышня позавидовала бы Юленьке.

– Только не я, – и она гордо вздернула кверху розовый короткий носик. – В шестнадцать лет порядочные девушки не думают о замужестве. Да и, кроме того, я, если хотите знать, принципиальная противница брака. Зачем стеснять свою свободу? Я предпочитаю пойти на высшие женские курсы и сделаться ученой женщиной.

Но ее влажные коричневые глаза, с томно-синеватыми веками, улыбались так задорно, а губы сжались в такой очаровательный красный морщинистый бутон, что Александров, наклонившись к ее уху, сказал шепотом:

– И все это – неправда. И никогда вы не пойдете коптиться на курсах. Вы созданы богом для кокетства и для любви, на погибель всем нам, вашим поклонникам.

Пользуясь теснотой, он отыскал ее мизинец и крепко пожал его двумя пальцами. Она, блеснув на него глазами, убрала свою руку и шепнула ему: кш! – как на курицу.

Александров поздравил новобрачных, стоявших в левом приделе. Рука Юленьки была холодна и тяжела, а глаза казались усталыми.

Но она крепко пожала его руку и слегка, точно жалобно, улыбнулась.

Покорни весь сиял; сиял от напояженного пробора до лакированных ботинок; сиял новым фракком, ослепительно белым широким пластроном, золотом запонок, цепочек и колец, шелковым блеском нового шапокляка. Но на взгляд Александрова он, со своею долговязостью, худобой и неуклюжестью, был еще непригляднее, чем раньше, летом, в простом дачном пиджачке. Он крепко ухватил руку юнкера и начал ее качать, как насос.

– Спасибо, мерси, благодарю! – говорил он, захлебываясь от счастья. – Будем снова добрыми старыми приятелями. Наш дом будет всегда открыт для вас.

А Анна Романовна, разрядившаяся ради свадьбы, как царица Савская, и похорошевшая, казавшаяся теперь старшей сестрой Юленьки, пригласила любезно:

– Прямо из церкви зайдите к нам, закусить чем бог послал и выпить за новобрачных. И товарищей позовите. Мы звать всех не в состоянии: очень уж тесное у нас помещение; но для вас, милых моих александровцев, всегда есть место. Да и потанцуете немножко. Ну, как вы находите мою Юленьку? Право, ведь недурна?

Александров вздохнул шумно и уныло.

– Вы спрашиваете – не дурна ли? А я хотел бы узнать, кто и где видел подобную совершенную красоту?

– О, какой рыцарский комплимент! Мсье Александров, вы опасный молодой мужчина... Но, к сожалению, из одних комплиментов в наше время шубу не сошьешь. Я, признаюсь, очень рада тому, что моя Юленька вышла замуж за достойного человека и сделала прекрасную партию, которая вполне обеспечивает ее будущее. Но, однако, идите к вашим товарищам. Видите, они вас ждут.

Александров покрутил головою:

– А ведь про шубу-то она, наверное, на мой счет прошлась?

Квартиру Синельниковых нельзя было узнать – такой она показалась большой, вместительной, нарядной после каких-то неведомых хозяйственных перемен и перестановок. Анна Романовна, несомненно, обладала хорошим глазомером. У нее казалось многолюдно, но тесноты и давки не было.

В зале стояли покоем столы с отличными холодными закусками. Стульев почти не было. Закусывали стоя, à la fourchette. Два наемных лакея разносили на серебряных подносах высо-

кие тонкогорлые бокалы с шампанским. Александров пил это вино всего только во второй раз в своей жизни. Оно было вкусное, сладкое, шипело во рту и приятно щекотало горло. После третьего бокала у него повеселело в голове, потеплело в груди, и глаза стали все видеть, точно сквозь легкую струящуюся завесу. С трудом разобрал он на высокой толстостенной бутылочке золотые литеры: «Veuve Clicquot»².

Потом лакеи с необыкновенной быстротой и ловкостью разняли столовый «покой» и унесли куда-то столы. В зале стало совсем просторно. На окна спустились темно-малиновые занавесы. Зажглись лампы в стеклянных матовых колпаках. Наемный тапер, вдохновенно-вздохмаченный брюнэт, заиграл вальс.

Александров выпил еще один бокал шампанского и вдруг почувствовал, что больше нельзя. «Генуг, ассе, баста, довольно», – сказал он ласково засмеявшемуся лакею.

Нет, он вовсе не был пьян, но весь был как бы наполнен, напоен удивительно легким воздухом. Движения его в танцах были точны, мягки и беззвучны (вообще он несколько потерял способность слуха и оттого говорил громче обыкновенного). Но им, незаметно для самого себя, овладело очарование той атмосферы всеобщей легкой влюбленности, которая всегда широко разливается на свадебных праздниках. Здесь есть такое чувство, что вот, на время, приоткрылась запечатанная дверь; запрещенное стало на глазах участников не только дозволенным, но и благословенным. Суровая тайна стала открытой, веселой, прелестной радостью. Нежный гашиш сладко одурманивал молодые души.

Александров не отходил от Оленьки, упрямо и ревниво ловя минуты, когда она освобождалась от очередного танцора. Он без ума был влюблен в нее и сам удивлялся, почему не замечал раньше, как глубоко и велико это чувство.

– Оленька, – сказал он. – Мне надо поговорить с вами по очень, по чрезвычайно нужному делу. Пойдемте вон в ту маленькую гостиную. На одну минутку.

– А разве нельзя сказать здесь? И что это за уединение вдвоем?

– Да ведь мы все равно будем у всех на глазах. Пожалуйста, Олечка!

– Во-первых, я вам вовсе не Олечка, а Ольга Николаевна. Ну, пойдемте, если уж вам так хочется. Только, наверно, это пустяки какие-нибудь, – сказала она, садясь на маленький диванчик и обмахиваясь веером. – Ну, какое же у вас ко мне дело?

– Оленька, – сказал Александров дрожащим голосом, – может быть, вы помните те четыре слова, которые я сказал вам на балу в нашем училище.

– Какие четыре слова? Я что-то не помню.

– Позвольте напомнить... Мы тогда танцевали вальс, и я сказал: «Я люблю вас, Оля».

– Какая дерзость!

– А помните, что вы мне ответили?

– Тоже не помню. Вероятно, я вам ответила, что вы нехороший, испорченный мальчишка.

– Нет, не то. Вы мне ответили: «Ах, если бы я могла вам верить».

– Да, конечно, вам верить нельзя. Вы влюбляетесь каждый день. Вы ветрены и легкомысленны, как мотылек... И это-то и есть все то важное, что вы мне хотели передать?

– Нет, далеко не все. Я опять повторяю эти четыре заветные слова. А в доказательство того, что я вовсе не порхающий папильон³, я скажу вам такую вещь, о которой не знают ни моя мать, ни мои сестры и никто из моих товарищей, словом, никто, никто во всем свете.

Ольга зажмурилась и затрясла своими темными блестящими кудряшками.

– А это не будет страшно?

² «Вдова Клико» (фр.).

³ Мотылек (от фр. papillon).

– Ничуть, – серьезно ответил Александров. – Но уговор, Ольга Николаевна: раз я лишь одной вам открываю величайшую тайну, то покорно прошу вас, вы уж, пожалуйста, никому об этом не болтайте.

– Никому, никому! Но она, надеюсь, приличная, ваша тайна?

– Абсолютно. Я скажу даже, что она возвышенная...

– Ах, говорите, говорите скорей. Я вся трясусь от любопытства и нетерпения.

Ее правый глаз был освещен сбоку и сверху, и в нем, между зрачком и райком, горел и точно переливался светло-золотой живой блик. Александров засмотрелся на эту прелестную игру глаза и замолчал.

– Ну, что же? Я жду, – ласково сказала Ольга.

Александров очнулся.

– Ну, вот... на днях, очень скоро... через неделю, через две... может быть, через месяц... появится на свет... будет напечатана в одном журнале... появится на свет моя сюита... мой рассказ. Я не знаю, как назвать... Прошу вас, Оля, пожелайте мне успеха. От этого рассказа, или, как сказать?... эскиза, так многое зависит в будущем.

– Ах, от души, от всей души желаю вам удачи... – пылко отозвалась Ольга и погладила его руку. – Но только что же это такое? Сделаетесь вы известным автором и загордитесь. Будете вы уже не нашим милым, славным, добрым Алешей или просто юнкером Александровым, а станете называться «господин писатель», а мы станем глядеть на вас снизу вверх, раскрыв рты.

– Ах, Оля, Оля, не смейтесь и не шутите над этим. Да. Скажу вам откровенно, что я ищу славы, знаменитости... Но не для себя, а для нас обоих: и для вас и для меня. Я говорю серьезно. И, чтобы доказать вам всю мою любовь и все уважение, я посвящаю этот первый мой труд вам, вам, Оля!

Она широко открыла глаза.

– Как? И это посвящение будет напечатано?

– Да. Непременно. Так и будет напечатано в самом начале: «Посвящается Ольге Николаевне Синельниковой», внизу мое имя и фамилия...

Ольга всплеснула руками.

– Неужели в самом деле так и будет? Ах, как это удивительно! Но только нет. Не надо полной фамилии. Нас ведь вся Москва знает. Бог знает, что наплетут, Москва ведь такая сплетница. Вы уж лучше как-нибудь под инициалами. Чтобы знали об этом только двое: вы и я. Хорошо?

– Хорошо. Я повинуюсь. А когда я стану большим, настоящим писателем, Оленька, когда я буду получать большие гонорары, тогда...

Она быстро встала.

– Тогда и поговорим. А теперь пойдемте в зал. На нас уже смотрят.

– Дайте хоть ручку поцеловать!

– Потом. Идите первым. Я только поправлю волосы.

Была пора юнкерам идти в училище. Гости тоже разъезжались. Ольга и Люба провожали их до передней, которая была освещена слабо. Когда Александров успел надеть и одернуть шинель, он услышал у самого уха тихий шепот: «До свидания, господин писатель», – и горящие сухие губы быстро коснулись его щеки, точно клонули.

Домой юнкера нарочно пошли пешком, чтобы выветрить из себя пары шампанского. Путь был не близкий: Земляной вал, Покровка, Маросейка, Ильинка, Красная площадь, Спасские ворота, Кремль, Башня Кутафья, Знаменка... Юнкера успели прийти в себя, и каждый, держа руку под козырек, браво прорапортовал дежурному офицеру, поручику Рославлеву, по-училищному – Володьке: «Ваше благородие, является из отпуска юнкер четвертой роты такой-то».

Володька прищурил глаза, повел огромным носом и спросил коротко:

- Клик деми-сек?⁴
- Так точно, ваше благородие. На свадьбе были в семье полковника Синельникова.
- Ага! Ступайте.
- Этот Володька и сам был большущим кутилой.

Глава XII

Господин писатель

Это была очень давнишняя мечта Александрова – сделаться поэтом или романистом. Еще в пансионе Разумовской школы он не без труда написал одно замечательное стихотворение:

Скорее, о птички, летите
Вы в теплые страны от нас,
Когда ж вы опять прилетите,
То будет весна уж у нас.

В лугах запестреют цветочки,
И солнышко их осветит,
Деревья распустят листочки,
И будет прелестнейший вид.

Ему было тогда семь лет... Успех этих стихов льстил его самолюбию. Когда у матери случались гости, она всегда уговаривала сына: «Алеша, Алеша, прочитай нам „Скорее, о птички“». И по окончании декламации гости со вздохом говорили: „Замечательно! удивительно! А ведь, кто знает, может быть, из него будущий Пушкин выйдет“.

Но, перейдя в корпус, Александров стал стыдиться этих стишков. Русская поэзия показала ему иные, совершенные образцы. Он не только перестал читать вслух своих несчастных птичек, но упросил и мать никогда не упоминать о них.

В пятом классе его потянуло на прозу. Причиной этому был, конечно, неотразимый Фенимор Купер.

К тому же кадета Александрова соблазняла та легкость, с которой он писал всегда на полные двенадцать баллов классные сочинения, нередко читавшиеся вслух, для примера прочим ученикам.

Пять учебных тетрадок, по обе стороны страниц, прилежным печатным почерком были мелко исписаны романом Александрова «Черная Пантера» (из быта североамериканских дикарей племени Ваякса и о войне с бледнолицыми).

Там описывались удивительнейшие подвиги великого вождя по имени Черная Пантера и его героическая смерть. Бледнолицые дьяволы, теснимые краснокожими, перешли на небольшой необитаемый остров среди озера Мичиган. Они были со всех сторон обложены индейцами, но взять их не удавалось. Их карабины были в исправности, а громадный запас пороха и пуль грозил тем, что осада продлится на очень большое время, вплоть до прихода главной армии. Питаться же они могли свободно: рыбой из озера и пролетающей многочисленной птицей.

Но лишь один вождь, страшный Черная Пантера знал секрет этого острова. Он весь был насыпан искусственно и держался на стволе тысячелетнего могучего баобаба. И вот отважный воин, никого не посвящая в свой замысел, каждую ночь подплывает осторожно к острову,

⁴ Полусухое? (фр.).

ныряет под воду и рыбьей пилою подпиливает баобабовый устой. Наутро он незаметно возвращается в лагерь. Перед последнею ночью он дает приказ своему племени:

– Завтра утром, когда тень от острова коснется мыса Чиу-Киу, садитесь в пироги и спешно плывите на бледнолицых. Грозный бог войны, великий Коокама, сам предаст белых дьяволов в ваши руки. Меня же не дожидайтесь. Я приду в разгар битвы.

И ушел.

Утром воины беспрекословно исполнили приказание вождя. И когда они, несмотря на адский ружейный огонь, подплыли почти к самому острову, то из воды послышался страшный треск, весь остров покосился набок и стал тонуть. Напрасно европейцы молили о пощаде. Все они погибли под ударами томагавков или нашли смерть в озере. К вечеру же вода выбросила труп Черной Пантеры. У него под водою не хватило дыхания, и он, перепилив корень, утонул. И с тех пор старые жрецы поют в назидание юношам, и так далее и так далее.

Были в романе и другие лица. Старый трапер, гроза индейцев, и гордая дочь его Эрминия, в которую был безумно влюблен вождь Черная Пантера, а также старый жрец племени Ваякса и его дочь Зумелла, покорно и самоотверженно влюбленная в Черную Пантеру.

Роман писался любовно, но тяжело и долго. Куда легче давались Александрову его милые акварельные картинки и ловкие карикатуры карандашом на товарищей, учителей и воспитателей. Но на этот путь судьба толкнет его гораздо позднее...

Во что бы то ни стало следовало этот роман напечатать. В нем было, на типографский счет, листа два, не менее. Но куда сунуться со своим детищем – Александров об этом не имел никакого представления. Помог ему престарелый монах, который продавал свечки и образки около часовни Сергия Преподобного, что была у Ильинских ворот. Мать давным-давно подарила Александрову копилку со старой малоинтересной коллекцией монет, которую когда-то начал собирать ее покойный муж. Александров всегда нуждался в свободном пятакче. Мало ли что можно на него купить: два пирожка с вареньем, кусок халвы, стакан малинового кваса, десять слив, целое яблоко, словом, без конца...

И вот, по какому-то наитию, однажды и обратился Александров к этому тихонькому, закапанному воском монашку с предложением купить кое-какие монетки. В коллекции не было ни мелких золотых, ни крупных серебряных денег. Однако монашек, порывшись в медной мелочи, взял три-четыре штуки, заплатил двугривенный и велел зайти когда-нибудь в другой раз. С того времени они и подружились.

Сам Александров не помнил, почему он отважился обратиться к монашку за советом:

– Кому бы мне отдать вот это мое сочинение, чтобы напечатали?

– А очень просто, – сказал монах. – Выйдете из ворот на Ильинку, и тут же налево книжный ларек Изымяшева. К нему и обратитесь.

У ларька, прислонясь к нему спиной, грыз подсолнушки тощий развязный мальчуган.

– Что прикажете, купец? Сонники? письмовники? гадательные книжки? романы самые животрепещущие? Францыль, Венециан? Гуак, или Непреоборимая ревность? Турецкий генерал Марцимирис? Прекрасная магометанка, умирающая на могиле своего мужа?

– Мне не то, – робко прервал его Александров. – Мне бы узнать, кому отдать мой собственный роман, чтобы его напечатали.

Мальчик быстро ковырнул пальцем в носу.

– А вот, с-час, с-час. Я хозяина покличу. Родион Тихоныч! а Родион Тихоныч! Пожалуйте в лавочку. Тут пришли.

Вошел большой рыжий купец, весь еще дымящийся от сбитня, который он пил на улице.

– Чаво? – спросил он грубо.

Лицо у него было враждебное.

Александров сказал:

– Вот тут у меня небольшой написан роман из жизни...

– Покажь. – Он взял тетрадки и взвесил их на руке, потом перелистал несколько страниц и ответил: – Товар не по нас. Под Фенимора-с. Купера-с. Полтора рубля хотите-с?

– Я не знаю, – робко пробормотал Александров.

– Боле не могу. – Он почесал спину о балясину. – Настоящая цена-с.

– Ну, хорошо, – согласился кадет. – Пусть полтора.

– Так-с. Оставьте-с. Приходите через недельку. Посмотреть необходимо. Извольте получить ваши рупь с полтиной.

Александров пришел через неделю, потом через другую, третью, десятую. Сначала ему отказывали в ответе под разными предлогами, а потом враждебно сказали:

– Какая такая рукопись. Ничего мы о ней не слыхали и романа вашего никакого не читали. Напрасно людей беспокоите, которые заняты.

Так и погиб навеки замечательный роман «Черная Пантера» в пыльных печатных складах купца Изюмашева на Ильинке.

Застенчивый Александров с той поры, идя в отпуск, избегал проходить Ильинской улицей, чтобы не встретиться случайно глазами с глазами книжного купца и не сгореть от стыда. Он предпочитал вдвое более длинный путь: через Мясницкую, Кузнецкий мост и Тверскую.

Но было в душе его непоколебимое татарское упрямство. Неудача с прозой горько оскорбила его, вместо прозы он занялся поэзией. В седьмом классе корпуса, по воскресеньям, давалась на руки кадетам хрестоматия Гербеля – книга необыкновенно больших размеров и редкой толщины. Она не была руководящей книгой, а предлагалась просто для легкого и занятого чтения в свободное от зубрежки время. В ней было все, что угодно, и всего понемножку: отрывки из русских классиков, переводы из Шекспира, Гете, Шиллера, Байрона, Гейне и даже шутки, пародии и эпиграммы семидесятых годов.

Большинство этого обильного и мусорно собранного материала прошло мимо наивной души Александрова, но Генрих Гейне, с его нежной, страстной, благоуханной лирикой, с его живым юмором, с этой сверкающей слезкой в щите, – Гейне пленил, очаровал, заморозил впечатлительное жадное сердце шестнадцатилетнего юноши.

В немецком учебнике Керковиуса, по которому учились кадеты, было собрано достаточное количество образцов немецкой литературы, и между ними находилось десятка с два коротеньких стихотворений Гейне.

Александров, довольно легко начинавший осваиваться с трудностями немецкого языка, с увлечением стал переводить их на русский язык. Он тогда еще не знал, что для перевода с иностранного языка мало знать, хотя бы и отлично, этот язык, а надо еще уметь проникать в глубокое, живое, разнообразное значение каждого слова и в таинственную власть соединения тех или других слов.

Но он уже сам начинал чувствовать, что переводы его лишены легкой игривой свободной резвости подлинника, что стихи у него выходят дубовыми, грузными, тяжело произносимыми и что напряженный смысл их далеко не исчерпывает благоуханного и волнующего смысла гейневского стиха.

Охотнее всего делал Александров свои переводы в те скучные дни, когда, по распоряжению начальства, он сидел под арестом в карцере, запертый на ключ. Тишина, безделье и скука как нельзя лучше поощряли к этому занятию. А когда его отпускали на свободу, то, урвав первый свободный часочек, он поспешно бежал к старому верному другу Сашке Гурьеву, к своему всегдашнему, терпеливому и снисходительному слухачу.

Обое выбирали уютный, укромный уголок, вдали от обычной возни и суматохи, и там Александров с восторгом, с дрожащими руками, нараспев читал вслух последние произведения своей музыки.

– Очень хорошо, Алехан, по совести могу сказать, что прекрасно, – говорил Гурьев, восторженно трясая головою. – Ты с каждым днем совершенствуешься. Пиши, брат, пиши, это твое настоящее и великое призвание.

Похвалы Сашаки Гурьева были чрезвычайно лестны и сладки, но Александров давно уже начал догадываться, что полагаться на них и ненадежно, и глупо, и опасно. Гурьев парень превосходный, но что он, по совести говоря, понимает в высоком и необычайно трудном искусстве поэзии?

И тогда он решился на суровый, героический, последний опыт. «Я переведу, – сказал он сам себе, – одно из значительных стихотворений Гейне, не заглядывая в хрестоматию Гербеля, а потом сличу оба перевода. Тогда я узнаю, следует ли мне писать стихи, или не следует». Он выискал в Керковиусе известное гейневское стихотворение, вернее, маленькую поэму – «Лорелея», трудился он над ее переводом усердно и добросовестно, по множеству раз прибегая к толстому немецко-русскому словарю, чтобы найти побольше синонимов. С ритмом он легко справился, взяв за образец лермонтовское «По синим волнам океана», но в самом начале тщательной работы он уже стал предчувствовать, что Гейне ему не дается и, вероятно, не дастся. Уже первая строфа казалась ему деревянной (хотя в этом ему не хотелось окончательно сознаться перед самим собой):

Не знаю, что случилось со мною,
Сегодня мой дух так смущен,
И нет мне ни сна, ни покою
От песни минувших времен.

– Почему, например, «покою», когда следует сказать «покою». Требование рифмы? А где же требование законов русского языка?

После многих черновиков, переделок и перемарок Александров остановился на последней, окончательной форме. «Правда: это еще не совершенство, но сделать лучше и вернее я больше не в силах».

Только тогда он раскрыл Гербеля и нашел в нем «Лорелею». Воистину ослепительно прекрасным, совершенным, несравнимым, или, точнее, сравнимым только с текстом самого Гейне, показался ему перевод Михайлова.

«Да, – подумал он, – так я ни за что не переведу. А если и переведу, то только после многих, многих лет изучения всех тонкостей немецкого языка и кристального вдумывания в слова великого автора. Куда мне!..»

Но он хотел до конца исчерпать всю горечь своей неудачи. Как-то, после урока немецкого языка, он догнал ушедшего из класса учителя Мея, сытого, доброго обрусевшего немца, и сунул ему в руки отлично переписанную «Лорелею».

– Здесь немного, всего тридцать две строки. Будьте добры, перечитайте мой перевод и скажите без всякой церемонии ваше мнение.

Мей охотно принял рукопись и сказал, что на днях даст ответ. Через несколько дней, опять выходя из класса, Мей сделал Александрову едва заметный сигнал следовать за собой и, идя с ним рядом до учительской комнаты, торопливо сказал:

– За ваш прекрасный и любовный труд я при первом случае поставлю вам двенадцать! Должен вам признаться, что хотя я владею одинаково безукоризненно обоими языками, но так перевести «Лорелею», как вы, я бы все-таки не сумел бы. Тут надо иметь в сердце кровь поэта. У вас в переводе есть несколько слабых и неверно понятых мест, я все их осторожно подчеркнул карандашиком, пометки мои легко можно снять резинкой. Ну, желаю вам счастья и удачи, молодой поэт. Стихи ваши очень хороши.

Усталым, сиплым голосом поблагодарил Александров учителя. На сердце его лежал камень.

«Нет, уж что тут, – мысленно махнул он на себя рукою. – Верно сказано: „не суйся со свинячьим рылом в калашный ряд“.

– Кончено на веки вечные мое писательство! баста!

Александров перестал сочинять (что, впрочем, очень благотворно отозвалось на его последних в корпусе выпускных экзаменах), но мысли его и фантазии еще долго не могли оторваться от воображаемого писательского волшебного мира, где все было блеск, торжество и победная радость. Не то чтобы его привлекали громадные гонорары и бешеное упоение всемирной славой, это было чем-то несущественным, призрачным и менее всего волновало. Но манило одно слово – «писатель», или еще выразительнее – «господин писатель».

Это не знаменитый генерал-полководец, не знаменитый адвокат, доктор или певец, это не удивительный богач-миллионер, нет – это бледный и худой человек с благородным лицом, который, сидя у себя ночью в скромном кабинете, создает каких хочет людей и какие вздумает приключения, и все это остается жить на веки гораздо прочнее, крепче и ярче, чем тысячи настоящих, взаврадашних людей и событий, и живет годами, столетиями, тысячелетиями, к восторгу, радости и поучению бесчисленных человеческих поколений.

Вот оно, госпожа Бичерстоу с «Хижиной дяди Тома», Дюма с «Тремя мушкетерами», Жюль Верн с «Капитаном Немо» и с «Детьми капитана Гранта», Тургенев с Базаровым, Рудин, Пигасовым... и – да всех и не перечислишь.

У всех у них какое-то могучее подобие с господом богом: из хаоса – из бумаги и чернил – родят они целые миры и, создавши, говорят: это добро зело.

«Истинные господа на земле эти таинственные писатели. Если бы повидать хоть одного из них когда-нибудь. Может быть, он подведет меня поближе к тайне своего творчества, и я пойму его...»

Мечтая таким образом, Александров и предполагать не смел, что покорный случай готовит ему вскорости личное знакомство с настоящим и даже известным Господином Писателем.

Глава XIII

Слава

На вакации, перед поступлением в Александровское училище, Алексей Александров, живший все лето в Химках, поехал погостить на неделю к старшей своей сестре Соне, поселившейся для деревенского отдыха в подмосковном большом селе Краскове, в котором сладкогласные мужики зимою промышляли воровством, а в теплые месяцы сдавали москвичам свои избы, порою о двух и даже о трех этажах. Сонин дом Александров знал еще с прошлого года и потому, спрыгнув на ходу с вагонной площадки, быстро и уверенно дошел до него. Но у окна он с некоторым изумлением остановился. Соня играла на пианино, и он сразу узнал столь любимую им вторую рапсодию Листа. В этом не было, конечно, ничего необыкновенного; поразил Александра незнакомый и, по правде сказать, диковинный Сонин гость. Он был длинен, худ и с таким несчетным количеством веснушек на лице, что издали гость казался крашенным в темно-желтую краску или страдающим желтухой. Одет он был фантастически: в долгую, до земли, и преувеличенно-широкую размахайку цвета летучей мыши. Высоко и буйно задирая вверх клокастую голову, он носился взад и вперед по комнате. Левая рука его держала угол размахайки и заставляла ее развеиваться в воздухе, как театральный плащ Демона. А в правой руке у незнакомца был столовый нож, которым он неистово дирижировал в такт Сониной музыке.

Эта картина была так странна и сверхъестественна, что Александров точно припаялся к оконному стеклу и не мог сдвинуться с места. А тут Соня добралась до этого дьявольского

цыганского престо-престиссимо, от которого ноги молодых людей начинают сами собой плясать, ноги стариков выделяют поневоле, хоть и с трудом, хоть и совсем не похоже, лихие па старинных огненных танцев и кости мертвецов шевелятся в могилах. С желтолицым человеком произошла точно мгновенная судорога. Он швырнул на пол свой мышастый разлетай, издал дикий вопль и вдруг с такой неожиданной силой и ловкостью запустил ножом в стену, что острие вонзилось в нее и закачалось.

Послышался испуганный крик Сони. Александров почувствовал, что теперь ему как мужчине необходимо принять участие в этом странном происшествии. Он затряс ручку дверного звонка. Соня отворила дверь, и испуг ее прошел. Она уже смеялась.

– Здравствуй, здравствуй, милый Алешенька, – говорила она, целуясь с братом. – Иди скорее к нам в столовую. Я тебя познакомлю с очень интересным человеком. Позвольте вам представить, Диодор Иванович, моего брата. Он только что окончил кадетский корпус и через месяц станет юнкером Александровского военного училища. А это, Алеша, наш знаменитый русский поэт Диодор Иванович Миртов. Его прелестные стихи часто появляются во всех прогрессивных журналах и газетах. Такое наслаждение читать их!

Желтолицый поэт картавил, хотя и не без приятности.

– Мигтов, – говорил он, пожимая руку Алеша, – Диодог Мигтов. Очень гад, весьма гад. Чрезвычайно люблю общество военных людей, а в особенности молодых.

Соня вспомнила недавнюю трагикомическую сцену.

– Ах, как Диодор Иванович меня сейчас напугал, – сказала она добродушно и весело.

Александров осторожно промолчал о том, что он видел сквозь окно. Немного конфузясь, Миртов стал выдергивать из шелевки крепко завязший в ней нож и бурчал, точно извиняясь:

– Чеговская эта музыка венгеская. Электгизигует негвного человека. Слышу эту втогую гапсодию Листа, и во мне закипает кговь моих дгевних пгедков, каких-нибудь скифов или казагов. Уж вы меня пгостите, догогая Софья Николаевна. Стихийная у меня натуга и дугацкая.

Александров внимательно рассматривал лицо знаменитого поэта, похожее на кукушечье яйцо и тесной раскраской и формой. Поэт понравился юноше: из него, сквозь давно наигранную позу, лучилась какая-то добрая простота. А театральный жест со столовым ножом Александров нашел восхитительным: так могут делать только люди с яркими страстями, не боящиеся того, что о них скажут и подумают обыкновенные людишки.

В ту пору дерзость, оригинальность и экспансивность были его героической утехой. Недаром он тогда проходил через волшебное обаяние Дюма-отца. Зато стихов Миртова, которых он с неизменной любезностью прочитал много, Александров совсем не понял и добросовестно отнес это к своей малой поэтической восприимчивости.

Соня, всегда немножко бестактная, не упустила случая сделать неловкость. В то время когда Миртов, передыхая между двумя стихотворениями, пил пиво, Соня вдруг сказала:

– А вы знаете, Диодор Иванович, наш Алеша ведь тоже немножко поэт, премиленькие стишки пишет. Я хоть и сестра, но с удовольствием их читаю. Попросите-ка его что-нибудь продекламировать вслух.

Александров от стыда и от злости на сестру стал сразу мучительно пунцовым, думая про себя: «О бог мой! До какой степени эти женщины умеют быть бестактными».

Миртов каким-то придавленным голосом, с искривленной улыбкой сказал:

– А что же, молодой воин. Прочитайте, прочитайте. Мы, старики, всем сердцем радуемся каждому юному пришельцу. Почитайте, пожалуйста.

Александров чутким ухом услышал и понял, что никакие стихи, кроме собственных, Миртова совсем не интересуют, а тем более детские, наивные, жалкие и неумелые. Он изо всех сил набросился на сестру:

– Как тебе не совестно, Соня? И какие же это стихи. Ни смысла, ни музыки. Обыкновенные вирши бездельника-мальчишки: розы – грозы, ушел – пришел, время – время, любовь –

кровь, камень – пламень. А дальше и нет ничего. Вы уж, пожалуйста, Диодор Иванович, не слушайте ее, она в стихах понимает, как свинья в апельсинах. Да и я – тоже. Нет, прочитайте нам еще что-нибудь ваше.

Таким образом и подружился пятидесятилетний, уже заметно тронутый сединою, известный поэт Миртов с беззаботным мальчуганом Александровым.

Миртов был соседом Сони, тоже снимал дачку в Краскове. Всю неделю, пока Александров гостил у сестры, они почти не расставались. Ходили вместе в лесок за грибами, земляникой и брусникой и два раза в день купались в холодной и быстрой речонке.

У Миртова был огромный трехлетний пес сенбернарской чистой породы, по кличке Друг. Собака была у писателя, как говорится, не в руках: слишком тяжел, стар и неуклюж был матерый писатель, чтобы целый день заниматься собакой: мыть ее, чесать, купать, вовремя кормить, развлекать и дрессировать и следить за ее здоровьем. Зато Друг охотно пошел к Александрову, как веселый сверстник и компаньон по проказам. Началась их приязнь так: Друг по какому-то давнишнему капризу ни за что не хотел лазить в речную воду, а теми обливаниями на суше, какими его угощал хозяин, он всегда оставался недоволен – фыркал, рычал, вырывался из рук, убегал домой и даже при всей своей ангельской кротости иногда угрожал укусом.

Александров справился с ним одним разом. Уж не такая большая тяжесть для семнадцатилетнего юноши три пуда. Он взял Друга обеими руками под живот, поднял и вместе с Другом вошел в воду по грудь. Сенбернар точно этого только и дожидался. Почувствовав и уверившись, что жидкая вода отлично держит его косматое тело, он очень быстро освоился с плаванием и полюбил его.

Вскоре он и Алексей стали задавать в речке настоящие морские бои и правильные гонки. С этого почина собака доверчиво и с удовольствием влегла в тренировку. Увлеченный этим милым занятием и охотной понятливостью ученика, Александров вместо недели пробыл в Краскове две с половиной.

Миртов благодарно полюбил эти купанья и прогулки втроем. Он был очень одинокий человек. В доме у него никого не было, кроме собаки и старой-престарой кухарки, которая ничего не слышала, не понимала и не умела, кроме как бегать за пивом.

Иногда он говорил Александрову: «Знаете что, Алеша? – поэзия есть вещь нелегкая. Тут нужен воистину божий дар и вдохновение свыше. Миллионы было поэтов, и даже очень известных, а по проверке временем осталось их на всем белом свете не более двух десятков, конечно не считая меня. А вы попробуйте-ка когда-нибудь сочинить прозу. У вас глаз меткий, ноздри как у песика, наблюдательность большая, и, кроме того, самое простое и самое ценное достоинство: вы любите жизнь. Напишите когда-нибудь свеженький рассказ и принесите мне на Плющиху, где я всегда зимую. Я вам первую ступеньку с удовольствием подставлю, а там – что богу будет угодно. После маленького рассказика, с воробьиный нос, напишите повестушку, а там глядь – и романище о восьми частях, как пишет современный король и бог русской изящной литературы Лев Толстой. Да, кстати, рекомендую вам этого всемогущего льва читать пореже, а то потеряете и собственную индивидуальность и вкус к своей работе. Это только в древние библейские времена смертный Иаков осмелился бороться с богом и отделался сравнительно дешево – сломанной ногой. Теперь чудес не бывает.

А когда пришел Александрову срок уезжать из Краскова, то Миртов с сенбернаром проводили его на полустанок, и вслед уходящему поезду Миртов кричал, размахивая платком:

– Смотрите не забываете меня и Друга, приезжайте. Адгес – Плющиха, дом Гязнова. Я живу ввеху на голубятне. Ближе к богу.

В Москве, уже ставши юнкером, Александров нередко встречался с Диодором Ивановичем: то раза три у него на квартире, то у сестры Сони в гостинице Фальц-Фейна, то на улицах, где чаще всего встречаются москвичи. И всегда на прощанье не забывал Миртов дружески сказать:

– А что же гассказец-то? Жду, жду. Не медлите, догогой Алеша. Вгемя течет. Течет.

Вот именно об этом желтолицем и так мило сумбурном поэте думал Александров, когда так торжественно обещал Оленьке Синельниковой, на свадьбе ее сестры, написать замечательное сочинение, которое будет напечатано и печатно посвящено ей, новой царице его исстрадавшейся души.

Обещание было принято и, как мистической печатью, было припечатано быстрым, сухим и горячим поцелуем. Теперь оставалось только написать рассказ, а там уж Миртов непременно сунет его в журнал какой-нибудь.

И с этого времени, даже, можно сказать, со следующего дня, Александров яростно предался самому тяжелому, самому взыскательному из творчеств: творчеству слова. Конечно, напрасным оказался мудрый совет Диодора Ивановича: писать о том, что ты лично видел, слышал, осязал, обонял, чувствовал и наблюдал, нанизывая эти впечатления на любую, хотя бы скудную нить происшествия. Нет, он отрицал тонкие, изысканные подробности, которые придавали бы рассказу естественность движения. Он не умел придать своим персонажам различные оттенки в голосах, привычках, склонностях и недостатках. Черное у него было густо-черным, как самая черная ночь. Белое – бело, как крылья архангела или как цветок лилии, красное – красно, как огонь. Оттенков или переливов он знать не хотел и нужды в них не чувствовал. Ревность для него была, по давнишнему Шекспиру, «чудовищем с зелеными глазами», любовь – упойтельной и пламенной, верность – так непременно до гробовой доски.

На таких-то пружинах и подпорках он и соорудил свою сюиту (он не знал значения этого иностранного слова), сюиту «Последний дебют». В ней говорилось о тех вещах и чувствах, которых восемнадцатилетний юноша никогда не видел и не знал: театральный мир и трагическая любовь к самоубийствам. Скелет рассказа был такой:

Утром, в дневной полутьме, на сцене большого провинциального театра идет репетиция. Анемподистов, антрепренер, он же директор и режиссер, предлагает второй актрисе – Струниной пройти роль Вари.

– Но ведь это моя коронная роль, – с ужасом восклицает первая актриса Торова-Монская, любовница Анемподистова.

– Ах, не волнуйтесь, дорогуля, – говорит директор, – труппа у нас совсем небольшая. Надо иногда, во внезапных случаях, заменять один другого.

– Ты ее любишь? Ты ее любишь? – горячо шепчет ему на ухо актриса Торова-Монская.

– Оставь, милая. Ты знаешь, что во всем мире я люблю тебя одну.

Дальше действие рассказа переносится за кулисы, в уборную. Решено, что Варю будет играть Струнина. Публика любит новые впечатления. Торова-Монская может отдохнуть немножко.

Но Монская сказала гордо:

– Я здесь, и я останусь. Струнина может играть завтра или когда ей будет угодно. Но я играю нынче в последний раз. Слышите ли вы, хам анемподийский! Сегодня я играю в самый последний раз.

И с этими словами вышла на сцену.

О боже, как приняла ее публика, увидев ее бледное, страдальческое лицо и огромные серые глаза! С каждым актом игра ее производила все более грандиозное впечатление на публику, переполнявшую театр. И вот подошла последняя сцена, сцена, в которой Варя отравляется.

Артистка подошла к рампе и потрясающим голосом сказала:

– Если любовь – то великое счастье. Если обман – то смерть. – И с этими словами поднесла к губам пузырек и вдруг упала в страшных конвульсиях.

«Доктора! доктора! О, какой ужас! – закричала публика. – Скорее доктора!» Но доктор уже был не нужен. Великая актриса умерла...

С блаженным чувством оконченного большого труда сделал юнкер красивую подпись: *Алехан Андров*. И украсил ее замысловатым росчерком.

Сто раз перечитал Александров свое произведение и по крайней мере десять раз переписал его самым лучшим своим почерком. Нет сомнений – сюита была очень хороша. Она трогала, умиляла и восхищала автора. Но было в его восторгах какое-то непонятное и невидимое пятно, какая-то постыдная неловкость очень давнего происхождения, какая-то неуловимая болячка, которую Александров не мог определить.

Тем не менее в одно из ближайших воскресений он пошел на Плющиху и с колотящимся сердцем взобрался на голубятню, на чердачный этаж старого деревянного московского дома. Надевши на нос большие очки, скрепленные на сломанной пережабинке куском сургуча, Миртов охотно и внимательно прочитал произведение своего молодого приятеля. Читал он вслух и, по старой привычке, немного нараспев, что придавало сюите важный, глубокий и красиво-печальный характер.

Юнкер и громадный сенбернар слушали его чтение с нескрываемым умилением. Друг даже вздыхал.

Наконец Диодор Иванович кончил, положил очки и рукопись на письменный стол и с затуманенными глазами сказал:

– Пгекгасно, мой догогой. Я вам говогу: пгекгасно. Зоилы найдут, может быть, какие-нибудь недосмотгы, поггешности или еще что-нибудь, но на то они и зоилы. А ведь красивую девушку осьмнадцати лет не могут испортить ни родинка, ни рябинка, ни царапинка. Анисья Харитоновна, – закричал он, – принесите-ка нам бутылку пива, вспрыснуть новорожденного! Ну, мой добрый и славный друг, поздравляю вас с посвящением в рыцари пера. Пишите много, хорошо и на пользу, на радость человечеству!

Они чокнулись пивом и расцеловались.

Немного погодя и уже собираясь уходить, Александров спросил: можно ли ему будет написать впереди сюиты маленький эпиграф. Не сочтут ли это за ломание?

– О, совсем нет, эпиграф прелестная вещь. Что же вы хотите написать?

– Да всего две строчки из Гейне.

– Хороший поэт, чудесный. Какие же?

Александров прочитал дрожащим от волнения голосом: «Я, раненный насмерть, играл, гладиатора бой представляя».

– Пгекгасно, великолепно, веская цитата, – одобрил Миртов.

Тут юнкер, осмелев, решил спросить и насчет посвящения.

– А что же?... Катайте. Ей? Конечно, ей?

Юноша покраснел от головы до пяток.

– Да, одной моей хорошей знакомой, в память уважения, дружбы и... Но следующий мой рассказ непременно будет посвящен вам, дорогой Диодор Иванович, вам, мой добрый и высокоталантливый учитель!

Миртов засмеялся, показав беззубый рот, потом обнял юнкера и повел его к двери.

– Не забывайте меня. Заходите всегда, когда свободны. А я на этих днях постараюсь устроить вашу рукопись в «Московский ручей», в «Вечерние досуги», в «Русский цветник» (хотя он чуточку слишком консервативен) или еще в какое-нибудь издание. А о результате я вас уведомяю открыткой. Ну, прощайте. Вперед без страха и сомненья!

Но страх и сомнения терзали бедного Александрова немилосердно. Время растягивалось подобно резине. Дни ожидания тянулись, как месяцы, недели – как годы. Никому он не сказал о своей первой дерзновенной литературной попытке, даже вернейшему другу Венсану; бродил как безумный по залам и коридорам, ужасаясь длительности времени.

И вот, наконец, открытое письмо от Диодора Ивановича. Пришло оно во вторник: «Взяли „Вечерние досуги“. В это воскресенье, самое большее – в следующее, появится в газетных киосках. Увы, я заболел инфлюэнцей, не встаю с постели. Отыщите сами. Ваш Д. Миртов».

В первое воскресенье Александров обегал десятка два киосков, спрашивая последние номера «Вечерних досугов», надеясь на чудо и не доверяя собственным глазам. К его огорчению, все «Досуги» были одинаковы, и ни в одном из них не было его замечательной сюиты «Последний дебют».

В следующее воскресенье он не имел возможности предпринять снова свои лихорадочные поиски, потому что в наказание за единицу по фортификации был лишен этим проклятым Дроздом отпуска.

Что делать? Пришлось открыть свою непроницаемую тайну милому товарищу Венсану, и тот с обычной любезной готовностью взялся найти и купить очередной номер «Досугов».

Весь день терзался Александров нестерпимой мукой праздного ожидания. Около восьми часов вечера стали приходить из отпуска юнкера, подымаясь снизу по широкой лестнице. Перекинувшись телом через мраморные перила, Александров еще издали узнал Венсана и затрепетал от холодной дрожи восторга, когда прочитал в его широкой сияющей улыбке знамение победы.

Держать в руках свое первое признанное сочинение, вышедшее на прекрасной глянцевитой бумаге, видеть свои слова напечатанными черным, вечным, несмываемым шрифтом, ощущать могучий запах типографской краски... что может сравниться с этим удивительным впечатлением, кроме (конечно, в слабой степени) тех неописуемых блаженных чувств, которые испытывает после страшных болей впервые родившая молодая мать, когда со слабою прелестною улыбкой показывает мужу их младенца-первенца.

Во всяком случае, наплыв радости был так бурен, что Александров не мог стоять на ногах. Его тело требовало движения. Он стал перепрыгивать без разбега через одну за другой кровати, стоявшие ровным, стройным рядом, туда и обратно и еще один раз. Только тогда он уселся на своей койке и принялся за чтение с бьющимся сердцем. Он прочитал сюиту два раза, сначала с летучей беглостью, потом более внимательно – и так и так произведение было восхитительно. Он дал его прочитать Венсану, а сам глядел через его плечо, поминутно отнимая у него листки, чтобы прочитать вслух наиболее сильные места. Потом завладел «Вечерними досугами» весь первый курс четвертой роты, потом пришли сверстники-фараоны других рот, потом заинтересовались и господа обер-офицеры всех рот.

Слава юнкера, ставшего писателем, молниями бежала по всем залам, коридорам, помещениям и закоулкам училища. Спрос на номер «Вечерних досугов» был колоссальный.

К Александрову шла со своим шумом настоящая слава, которая отозвалась усталостью и головной болью.

Ночь он провел тяжело и нудно. Сначала долго не мог заснуть, потом ежеминутно просыпался. На тусклом зимнем рассвете встал очень рано с тяжестью во всем теле и с неприятным вкусом во рту.

Глава XIV

Позор

Рота умылась, вычистилась, оделась и выстроилась в коридоре, чтобы идти строем на утренний чай.

К перекличке, как и всегда, явился Дрозд и стал на левом фланге. Перекличка сошла благополучно. Юнкера оказались налицо. Никаких событий в течение ночи не произошло. Дрозд перешел на середину роты.

– Юнкер Александров, – вызвал он спокойным голосом.

– Я, – отозвался звучно Александров и ловко сделал два шага вперед.

– До моего сведения дошло, что вы не только написали, но также и отдали в журнальную печать какое-то там сочинение и читали его вчера вечером некоторым юнкерам нашего училища. Правда ли это?

– Так точно, господин капитан.

– Потрудитесь сейчас же принести мне это произведение вашего искусства.

Александров побежал к своему уборному шкафчику. Дорогой он думал сердито:

«Как же мог Дрозд узнать о моей сюите?... Откуда? Ни один юнкер – все равно будь он фараон или обер-офицер, портупей или даже фельдфебель – никогда не позволит себе донести начальству о личной, частной жизни юнкера, если только его дело не грозило уроном чести и достоинства училища. Эко какое запутанное положение»...

В голову не могла ему прийти простая мысль о том, что самому Дрозду, или одному из других офицеров училища, или каким-нибудь внеучилищным их знакомым мог попасться под руку воскресный экземпляр «Вечерних досугов».

– Пожалуйста, господин капитан, – сказал Александров, подавая листки.

Дрозд сухо приказал:

– Сейчас же отправляйтесь в карцер на трое суток с исполнением служебных обязанностей. А журналичко ваш я разорву на мелкие части и брошу в нужник... – И крикнул: – Фельдфебель, ведите роту.

И вот Александров в одиночном карцере. На лекции и на специальные военные занятия его выпускает на час, на два сторож, прикомандированный к училищу ефрейтор Перновского гренадерского полка. Он же приносит узнику завтрак, обед и чай с булкой.

У юнкеров было много своих домашних неписанных старинных обычаев, так сказать, «ада-тов». По одному из них юнкеру, находящемуся под арестом и выпускаемому в роту для служебных занятий, советовалось не говорить со свободными товарищами и вообще не вступать с ними ни в какие неделовые отношения, дабы не дать ротному командиру и курсовым офицерам возможности заподозрить, что юнкера могут делать что-нибудь тайком, исподтишка, прячась. Ведь травили же они свое начальство, совсем в открытую, ядовитыми и даже часто нецензурными прозвищами. А в этом законе собственного изделия была, несомненно, тень некоторого рыцарства.

Однако Александров все-таки не удержался от нарушения юнкерского обычая. За уроком гимнастики, работая на параллельных брусьях, он успел шепнуть Венсану:

– Голубчик Венсан, достаньте мне какую-нибудь книжку из ротной библиотеки и передайте через сторожа... Ужасная тоска.

– Постараюсь, – сказал Венсан и быстро отошел прочь.

И правда: бедный Александров изнывал от скуки, безделья и унижения. Вчера еще триумфатор, гордость училища, молодой, блестяще начинающий писатель – он нынче только наказанный, жалкий фараон, уныло снующий взад и вперед на пространстве в шесть квадратных аршин. Иногда, лежа на деревянные нары и глядя в высокий потолок, Александров пробовал восстановить в памяти слово за словом весь текст своей прекрасной сюиты «Последний дебют». И вдруг ему приходило в голову ядовитое сомнение: «А в сущности ведь, пожалуй, такое заглавие: „Последний дебют“, может показаться неточным и даже нелепым. Дебют – ведь это начало, как и в шахматах, это – первое, пробное выступление артистки, а у меня актриса Торова-Монская (фу, и фамилия-то какая-то надуманная и неестественная), у меня она, по рассказу, имеет и большой опыт и известное имя. Первый дебют – это и понятно и приемлемо и для читателей. Название же „Последний дебют“ вызывает невольное недоумение. Можно подумать, что моя все-таки уже не очень молодая героиня только и знала в своей актерской жизни, что дебютировала и дебютировала и всегда неудачно, пока не додебютировалась до самоубийства...»

И вот опять стало в подсознание Александрова прокрадываться то темное пятно, та неведомая болячка, та давно знакомая досадная неловкость, которые он испытывал порою, перечитывая в двадцатый раз свою рукопись. И чем более он теперь вчитывался мысленно, по памяти, в «Последний дебют», тем более он находил в нем корявых тусклых мест, натяжек, ученического напряжения, невыразительных фраз, тяжелых оборотов.

«Нет, это мне только так кажется, – пробовал он себя утешить и оправдаться перед собою. – Уж очень много было в последние дни томления, ожидания и неприятностей, и я скис. Но ведь в редакциях не пропускают вещей неудовлетворительных и плохо написанных. Вот принесет Венсан какую-нибудь чужую книжку, и я отдохну, забуду сюиту, отвлекусь, и опять все снова будет хорошо, и ясно, и мило... Перемена вкусов...»

В шесть часов вечера в свободное послеобеденное время сторож, перновский ефрейтор, постучался в решетчатую дверь карцера.

– Вам, господин юнкер, книжку какуюсь принесли. Извольте преполучить.

Эта книга, сильно потрепанная, была вовсе незнакома Александрову.

«Казачья. Повесть. Сочинение графа Толстого», – прочитал он на обложке.

«Должно быть, не очень уж интересно, что-то из истории... но для кутузки и такое кушанье подойдет».

– Скажи господину юнкеру, что очень благодарю.

Начал он читать эту повесть в шесть с небольшим вечера, читал всю ночь, не отрываясь, а кончил уже тогда, когда утренний ленивый белый свет проник сквозь решетчатую дверь карцера.

– Что же это такое, – шептал он, изнеможенный, потрясенный и очарованный, ероша и крутя отчаянно волосы на голове. – Господи, что же это за великое чудо? Ну я понимаю: талант, гений, вдохновение свыше... это Шекспир, Гете, Байрон, Гомер, Пушкин, Сервантес, Данте, небожители, витавшие в облаках, питавшиеся амброзией и нектаром, говорившие с богами, и так далее и тому подобное... То есть я не понимаю, но с благоговением признаю и преклоняюсь. Но, господи боже мой, как же это так. Простой, обыкновенный человек, даже еще и с титулом графа, человек, у которого две руки, две ноги, два глаза, два уха и один нос, человек, который, как и все мы, ест, пьет, дышит, сморкается и спит... и вдруг он самыми простыми словами, без малейшего труда и напряжения, без всяких следов выдумки взял и спокойно рассказал о том, что видел, и у него выросла несравненная, недостижимая, прелестная и совершенно простая повесть.

И Александров, подобно Ленину, увидевшему впервые на станции горы, начал с блаженным ненасытным голосом в душе перечислять:

«Ну Ленин – это барин, это интеллигент, что о нем говорить. А дядя Ерошка! А Лукашка! А Марьянка! А станичный сотник, изъяснявшийся так манерно. А застреленный абрек! А его брат, приехавший в челноке выкупать труп. А Ванюшка, молодой лакеишка с его глупыми французскими словечками. А ночные бабочки, выющиеся вокруг фонаря. „Дурочка, куда ты летишь. Ведь я тебя жалею...“»

И тут вдруг оборвался молитвенный восторг Александрова: «А я-то, я. Как я мог осмелиться взяться за перо, ничего в жизни не зная, не видя, не слыша и не умея. Чего стоит эта распроклятая из пальца высосанная сюита. Разве в ней есть хоть малюсенькая черточка жизненной правды. И вся она по бедности, бледности и неумелости похожа... похожа... похожа...»

В этот момент его память внезапно как бы осветилась, и сразу ясной стала бередившая его недавно тревога, причиняемая какой-то необъяснимой болячкой, нудным и неловким пятном.

«Да, – сказал он с горьким мужеством, – твой „Последний дебют“, о несчастный, похож не на что иное, как на те глупые стихи, которые ты написал в семилетнем возрасте:

Скорее, о птички, летите

Вы в теплые страны от нас,
Когда ж вы опять прилетите,
То будет уж лето у нас.

В лугах запестреют цветочки,
И солнышко их осветит,
Деревья распускают листочки,
И будет прелестнейший вид.

И, ударив изо всех сил ладонью по дубовому столу, он сказал громко:

– К черту! Конец баловству!

Дрозд продержал Александрова вместо трех суток только двое. На третий день утром он пришел в карцер и сам выпустил арестованного.

– Вы знаете, юнкер Александров, – спросил он, – за что вы были арестованы?

– Так точно, господин капитан. За то, что я написал самое глупое и пошлое сочинение, которое когда-либо появлялось на свет божий.

– Ну нет, – возразил Дрозд мягко, – унижение паче гордости. Очень может быть, что ваш труд имеет свои несомненные достоинства. Но вина ваша заключается в том, что вы небрежно изучали военные уставы и особенно устав внутренней службы. Там ясно сказано: «Если кто из военнослужащих напишет какую-либо рукопись и захочет отдать ее для напечатания, то должен об этом сообщить и рукопись представить своему непосредственному начальнику». Вы, например, – вашему фельдфебелю. Он сообщает о вашем намерении и вручает вашу рукопись мне. Я – командиру батальона, последний – начальнику училища. Таким образом, его превосходительство является вашим последним судьей и разрешителем. В случае разрешения для печати оригинал ваш идет в обратном порядке вниз, вплоть до фельдфебеля, который и сообщает вам о разрешении или воспрещении. Понятно?

– Так точно, господин капитан.

– Ну, теперь идите в роту и, кстати, возьмите с собою ваш журнальчик. Нельзя сказать, чтобы очень уж плохо было написано. Мне моя тетушка первая указала на этот номер «Досугов», который случайно купила. Псевдоним ваш оказался чрезвычайно прозрачным, а кроме того, третьего дня вечером я проходил по роте и отлично слышал галдеж о вашем литературном успехе. А теперь, юнкер, – он скомандовал, как на учении: – На место. Бегом ма-а-арш.

Александров больше уже не перечитывал своего так быстро облинявшего творения и не упивался запахом типографии. Верный обещанию, он в тот же день послал Оленьке по почте номер «Вечерних досугов», не предчувствуя нового грядущего огорчения.

Было очень редким примером рассеянности и невнимания то обстоятельство, что, перечитавши бесконечно много раз свой «Последний дебют», он совсем небрежно отнесся к посвящению, пробегаая его вскользь. А между тем в посвящение вкралась роковая ошибка.

Посвящается Ю. Н. Син...никовой.

Но сильна, о могучая, вечная власть первой любви! О, незабываемая сладость милого имени! Рука бывшей, но еще не умершей любви двигала пером юноши, и он в инициалах, точно лунатик, бессознательно поставил вместо буквы «О» букву «Ю». Так и было оттиснуто в типографии.

Через два дня Александров получил зловещий, ядовитый ответ:

«Я получила журнал с Вашим сочинением. Говоря по правде, Вы свободно могли бы не утруждать себя этой присылкой. Судя по начальной букве „Ю“,

посвящение сделано не мне, а какой-то другой особе, которой имя начинается на букву „Ю“.

Так же странной мне показалась и подпись под произведением. Очевидно, господин Алехан Андров – знатный сын востока – и есть автор этого замечательного создания, прочитать которое у меня не было ни свободного времени и ни малейшего желания.

По некоторым причинам я вряд ли смогу когда-нибудь увидаться с Вами, и потому прощайте.

О. Синельникова».

Через недели две-три, в тот час, когда юнкера уже вернулись от обеда и были временно свободны от занятий, дежурный обер-офицер четвертой роты закричал во весь голос:

– Юнкер Александров. В приемную, на свидание.

Александров побежал к нему:

– Не знаете ли кто?

– Не знаю. Какой-то шпак.

Шпаками назывались в училище все без исключения штатские люди, отношение к которым с незапамятных времен было презрительное и пренебрежительное. Была в ходу у юнкеров одна старинная песенка, в которую входил такой куплет:

Терпеть я штатских не могу
И называю их шпаками,
И даже бабушка моя
Их бьет по морде башмаками.

Зато военных я люблю,
Они такие, право, хваты,
Что даже бабушка моя
Пошла охотно бы в солдаты.

Александров быстро, хотя и без большого удовольствия, сбегал вниз. Там его дожидался не просто шпак, а шпак, если так можно выразиться, в квадрате и даже в кубе, и потому ужасно компрометантный. Был он, как всегда, в своей широченной разлетаке и с таким же рябым, как кукушечье яйцо, лицом, словом, это был знаменитый поэт Диодор Иванович Миртов, который в свою очередь чувствовал большое замешательство, попавши в насквозь военную сферу.

– Я только на минутку, Алеша. Пришел поздравить вас с рождением первенца и передать вам гонорар, десять рублей. И уж вы меня простите, сейчас же бегу домой. Сижу я здесь, и все мне кажется: а вдруг вы все сейчас начнете стрелять. Адье, Алеша, и не забывайте мой дом на голубятне.

И он так быстро исчез, точно провалился сквозь театральный люк.

Свежая совесть подсказала было юнкеру бежать, вернуть поэта назад и отдать ему деньги, взятые за ничего не стоящую сюиту, но разыграть такую неуклюжую сцену в присутствии дежурного офицера (ведь Миртов, несомненно, будет противоречить) показалось ему зазорным и постыдным.

Десять рублей – это была огромная, сказочная сумма. Таких больших денег Александров никогда еще не держал в своих руках, и он с ними распорядился чрезвычайно быстро: за шесть рублей он купил маме шевровые ботинки, о которых она, отказывавшая себе во всем, частенько мечтала как о невозможном чуде. Он взял для нее самый маленький дамский размер, и то потом старушке пришлось самой сходить в магазин переменить купленные ботинки на недомерок. Ноги ее были чрезвычайно малы.

На два рубля Александров и Венсан два раза угощались савостьяновскими пирожными, посылая за ними служащего. На остальные же два они в воскресенье пошли в Тетерсал и около часа ездили верхом, что считалось утонченнейшим наслаждением.

Часть II

Глава XV Господин обер-офицер

Правильно и мудро сказал когда-то знаменитый писатель Диодор Иванович Миртов (с которым Александров после своего литературного провала перестал видаться из-за горького и мучительного стыда):

– Время течет, течет. Ничто его не остановит и ничто не повернет обратно. Аминь.

Середина и конец 1888 года были фатальны для мечтательного юноши, глубоко принявшего к сердцу все радости и неудачи. Черных дней выпадало на его долю гораздо больше, чем светлых: тоскливое, нудное пребывание в скучном положении молодого, начинающего фараона, суровая, утомительная строевая муштровка, грубые окрики, сажание под арест, назначение на лишние дневальства – все это делало военную службу тяжелой и непривлекательной. А тут еще постоянные нелады с точной наукой, которая называется военной фортификацией. Преподают ее полковник инженерных войск Колосов, человек лютой строгости, холодный и безжалостный. Он знаменит во всей Москве как строитель солидного памятника русским воинам, живот свой положившим в русско-турецкую войну 1877—78 годов. Но эта слава не мешает ему губить и топить беспомощных юнкеров, как слепых щенят. Его система преподавания была проста, кратка и требовательна до ужаса. Войдя в аудиторию и не здороваясь, он непременно должен был найти уже готовыми все приспособления для лекции: вычищенную до блеска классную доску, чистую, слегка влажную губку и несколько мелков, тщательно отточенных в виде лопаточек и обернутых в белые ровные бумажки. Он ничему не учил. Он брал мелок, подходил с ним к доске и странным, повелительным, беглым голосом произносил:

– Амбразура, или полевой окоп, или люнет, барбет, траверс и так далее. – Затем он начинал молча и быстро чертить на доске профиль и фас укрепления в проекции на плоскость, приписывая с боков необычайно тонкие, четкие цифры, обозначавшие фута и дюймы. Когда же чертеж бывал закончен, полковник отходил от него так, чтобы его работа была видна всей аудитории, и воистину работа эта отличалась такой прямизной, чистотой и красотой, какие доступны только при употреблении хороших чертежных приборов.

Лекция оканчивалась тем, что Колосов, вооружившись длинным тонким карандашом, показывал все отдельные части чертежа и называл их размеры: скат три фута четыре дюйма. Подъем четыре фута. Берма, заложение, эскарп, контрэскарп и так далее. Юнкера обязаны были карандашами в особых тетрадках перечерчивать изумительные чертежи Колосова. Он редко проверял их. Но случалось, внезапно пройдя вдоль ряда парт, он останавливался, показывал пальцем на чью-нибудь тетрадку и своим голосом без тембра спрашивал:

– Паук? Корзинка с земляникой? Хамелеон? – И, сделав малую паузу: – Единица!

Он был очень самостоятелен и почти никогда не дожидался звонка на перемену. Просто доставал надушенный платок из тонкого полотна, отряхивал свою грудь и руки от еле заметных пылинок мела, встряхивал платком и, не сказав ни слова, уходил, когда ему хотелось.

Александров никак не мог удовлетворить этого строгого, бесчувственного, всегда молчаливого идола. Чертить он умел отлично, и линия у него выходила щеголеватой ровной, но основных начал фортификации он не мог преодолеть. Его воображению никак не удавалось видеть предметы, построенные из земли и камня, в проекции на плоскость, то есть не имеющими ни материи, ни веса. Если бы ему показали люнет, барбет или амбразуру, сделанными из глины или папье-маше, он, наверное, понял бы мгновенно ошибку своего геометрического

неведения. Но об этом, увы, никто не хотел позаботиться. Почти в каждую репетицию Колосов молча ставил ему неудовлетворительные баллы, а Дрозд лишал его отпуска, этой отрады, улады и моральной поддержки.

Но еще больше терзали бедного фараона Александрова личные, интимные горести и разочарования: позорная измена Юлии Синельниковой, холодная и насмешливая отставка, полученная от Ольги Синельниковой, и, наконец, этот ужасный разгром литературной великой карьеры, разгром, признанный им самим с горьким отчаянием...

И Александров загрустил...

Но время течет, течет и в своем бесконечном течении потихоньку сглаживает все острые углы, подтачивает скалы, рассасывает мели, изменяет пейзажи и фарватеры.

Теперь Александров – фараон только по прозвищу. Гимнастика и фехтование развернули его грудь вширь. Вся трудность воинских упражнений и военного строя отошла бесследно. Ружье не тяжелит, шаг выработался большой и крепкий, а главное, появилось в душе гордое и ответственное сознание: я – юнкер славного Александровского училища, и трепещите все, все недруги. Даже с неодолимой фортификацией начались очень милые отношения. Однажды вечером, готовясь к завтрашней репетиции по проклятой фортификации, Александров громко и злобно чертыхнулся:

– Нет, когда же я, черт побери, освоюсь с этой фортификационной путаницей, да будут прокляты и полковник Колосов и его учитель Цезарь Кюи.

Сосед его по койке, скромный, тихий, благовоспитанный Прибиль, отличный пианист, сказал сочувственно:

– Послушайте-ка, друг Александров, не сердитесь на то, что я ввязываюсь не в свое дело. Я уже давно замечаю, что у вас постоянные недоразумения и огорчения с фортификацией. Мне кажется, что я могу вам немножко помочь, если вы, конечно, позволите. Все дело в сущем пустяке, который можно в одну минуту удалить. Вот, например, мой портсигар (Прибиль вынул из кармана простенький, изящный портсигар из карельской березы). Предположим, что он вам очень понравился и вам хочется заказать мастеру совершенно точно такой же по качеству и по размерам. Что вы для этого делаете? Вы приходите к мастеру и говорите: «Любезный мастер, сделайте мне хороший портсигар из карельской березы, шести дюймов в длину, четырех в ширину и двух в толщину». Не так ли? Для того чтобы заказ лучше удержался в его памяти, вы можете взять листик бумаги, карандаш и разграфленную линейку и начертить все размеры, написав: длина, ширина, толщина. Ведь не придет же вам в голову написать этот портсигар для мастера на полотне масляными красками или пастелью, хотя вы и отличный художник? Вы смотрите на фортификационные чертежи как на стереометрию, а они только планиметрия. Я видел, как вы тщетно корпели и возились над амбразурами. Очевидно, у вас из памяти не выходили старинные громадные амбразуры времен д'Артаньяна и Вобановских укреплений. А теперешняя амбразура – это просто мелкая канавка, которую вы сами выкопали, чтобы не видно было вашего ружья. Положительно, вы делаете слишком много чести фортификации, и это вам идет во вред.

Он замолчал. Александров некоторое время сидел с полуоткрытым ртом. Наконец, со стуком закрыв его, он сказал:

– Прибиль, сделайте мне милость, назовите меня идиотом.

– Что вы, что вы, Александров. Бог с вами.

– Нет уж, пожалуйста, назовите.

И так они пререкались до тех пор, пока стоявший рядом Жданов не произнес:

– Хотя и не верю своим собственным словам, но вы идиот, мистер Александров.

– Спасибо, Жданов. Ведь это просто невероятно, в каком я до сих пор был нелепом заблуждении. Теперь мне сразу точно катаракт с обоих глаз сняли. Все заново увидел благодаря волшебнику Прибилю (имя же его будет для меня всегда священо и чтимо).

На другой же день, во время очередной репетиции, Александров дал своим сокурсникам небольшое представление.

– Александров! – вызвал его своим бесцветным голосом полковник, у которого и глаза и перо, казалось, уже готовились поставить привычную единицу, – потрудитесь начертить двойной траверс и указать все его размеры.

Александров подошел к доске (и все сразу узнали походку Колосова), вынул из кармана тщательно очищенный по колосовской манере мелок, завернутый аккуратно в чистую белую бумагу, и (все даже вздрогнули) совершенно колосовским, стеклянным голосом громко объявил:

– Двойной траверс.

Он чертил замечательно скоро и уверенно. Линии у него выходили тоньше, чем у Колосова, и менее выпуклы, но так же красивы. Окончив чертеж и подписав все цифры, Александров со спокойной отчетливостью назвал все линии и все размеры, не произнеся ни одного лишнего слова, не сделав ни одного ненужного движения, спрятал мелок в карман и по-строговому вытянулся, глядя в холодные глаза полковника.

Колосов помолчал. Впервые юнкера увидели на его каменном лице что-то похожее на удивление.

– Почему же раньше, – спросил он, – почему раньше ваши чертежи были похожи на какие-то пейзажи и вы постоянно путались в названиях и цифрах? Что такое с вами случилось?

– Я просто решил следовать до мельчайших подробностей вашим урокам, господин полковник.

– А может быть, вам надоели постоянные единицы?

– Отчасти, господин полковник.

– Гмм. Теперь вы меня поставили в очень неудобное положение. Поставить вам двенадцать я не могу, ибо это знак абсолютного совершенства, какого в мире не существует. Одиннадцать – это самый высший балл, на который знаю фортификацию только я. Поэтому не обижайтесь, что на этот раз я поставлю вам только десять. Можете сесть.

Это была большая победа, окрылившая Александрова. После нее он сделался лучшим фортификатором во всем училище и всегда говорил, что фортификация – простейшая из военных наук.

Текло время. Любовные раны зажили, огорчения рассеялись, самолюбие успокоилось, бывшие любовные восторги оказались наивной детской игрой, и вскоре Александровым овладела настоящая большая любовь, память о которой осталась надолго, на всю его жизнь...

Выветрилось понемножку и позорное сознание о злой неудаче в литературе. Верный инстинкт подсказал Александрову доброе противоядие: он опять вернулся к рисованию и живописи. Во все отпускные дни (а их теперь стало гораздо больше после победы над Колосовым) он ходил в Третьяковскую галерею, Строгановскую школу, в Училище живописи и ваяния или брал уроки у Петра Ивановича Шмелькова⁵. Множество картонов и блокнотов истратил он, делая портретные изображения карандашом, углем и акварелью со своих товарищей, начальников и учителей. Эта работа спорилась послушно и приятно. Новый клин окончательно вышиб клин старый.

Между прочим, подходило понемногу время первого для фараонов лагерного сбора. Кончились экзамены. Старший курс перестал учиться верховой езде в училищном манеже. Господа обер-офицеры стали мягче и доступнее в обращении с фараонами. Потом курсовые офицеры начали готовить младшие курсы к настоящей боевой стрельбе полными боевыми

⁵ Шмельков – талантливый рисовальщик. Он забыт современными русскими художниками. См. о нем монографию, написанную французским писателем Denis Roches. (Прим. автора.)

патронами. В правом крыле училищного плаца находился свой собственный тир для стрельбы, узкий, но довольно длинный, шагов в сорок, наглухо огороженный от Пречистенского бульвара.

Туда каждый день с утра до вечера водили молодых юнкеров поочередно, по четыре, на стрельбу, следили за тем, чтобы юнкер при выстреле не зажмурился, не вздрагивал при отдаче, глядел бы точно на мушку сквозь прорезь прицела и нажимал бы спуск не рывком, но плавным движением.

В другом конце тира ставились картонные мишени с концентрическими черными окружностями, попадать надо было в центральный сплошной кружок. Благодаря малости помещения выстрелы были страшно оглушительны, от этого юнкера подолгу ходили со звоном в голове и ушах и едва слышали лекции и даже командные слова.

Но еще труднее с непривычки была чересчур сильная отдача ложа в плечо при выстреле. Она была так быстра и тяжела, что, ударяясь в тринадцатифунтовую берданку, чуть не валит начинающего стрелка с ног. Оттого-то у всех фараонов теперь правое плечо и правая ключица в синяках и по ночам ноют.

Но и домашнее обучение стрельбе окончено. «Умей чистить и протирать винтовку, чтобы она и снаружи и внутри у тебя блестела, как зеркало». Наступает утро, когда весь батальон, со знаменем, строгим строем, в белых каламянковых рубашках, под восхитительную музыку своего оркестра, покидает плац училища и через всю Москву молодецки марширует на Ходынское поле в старые-престарые лагеря.

Воспоминание о них остается слабым и незначительным для Александрова. Каждый день стрельба и стрельба, каждый день глазомерные и компасные съемки, каждый день батальонные учения и рассыпной строй. Идут постоянные дожди, когда юнкера сидят по баракам и в тысячный раз перезубривают уставы и «словесность».

Но самое главное то, что унижает фараонов до нуля, – это громадная роль и всеподавляющее значение, которые теперь легли на господ обер-офицеров.

На днях выборы вакансий, производство, подпоручичьи эполеты, высокое звание настоящего обер-офицера. Фараоны где-то вдали, внизу, в безвестности и забвении. И они чрезвычайно были обрадованы, когда дня за три до производства старшего курса в первый офицерский чин их распустили в отпуск до конца августа.

Александров провел остаток лета вместе с мамой у своего шурина, мужа сестры Зиной, в его чернореченском лесничестве, находящемся под Коломной. Там он много охотился, ловил рыбу и шлялся по лесам за ягодами и грибами.

Осталось одно неприятное и стыдное воспоминание о жене лесника Егора, Марье, красивой, здоровой бабенке, которая ему вскоре опротивела до смерти.

Вернулся он в училище настоящим обер-офицером, выросший чуть ли не на голову, с хриплыми басовыми нотами в голосе, загорелый, отрастивший настоящие усы в один миллиметр длиной.

О, как ему знакомы, близки и жалки были беспомощные неуклюжести новичков, их растерянность, их неумение найти тон. Он никогда не забывал своих первых жутких впечатлений в училище, когда был, точно чудом, перенесен из игрушечной жизни в суровую и строгую настоящую жизнь.

Он был хорошим обер-офицером, всегда готовым на помощь и на защиту фараону. Но старых адатов он не касался. Он чувствовал, что в них есть и надобность и скрепляющая сила.

Он был пламенным поклонником темпа.

– Темп, – говорил он фараонам, – есть великое шестое чувство. Темп придает уверенность движениям, ловкость телу и ясность мысли. Весь мир построен на темпе. Поэтому, о! фараоны, ходите в темп, делайте приемы в темп, а главное, танцуйте в темп и умеете пользоваться темпом при фехтовании и в гимнастических упражнениях.

Он и сам не подозревал того, что очень любившие его фараоны между собою называли его «обер-офицер Темп».

Ротный командир Дрозд, не стесняясь, говорил иногда, что он очень жалеет, почему Александров не дотянул на экзаменах до общего среднего балла, который дал бы ему возможность стать портупей-юнкером, командиром взвода.

Но, увы! Полковник Колосов не мог простить ему воистину волшебного просияния в фортификации и к круглым десяткам упрямо присоединял прошлые единицы, тройки и пятерки, поставленные еще на репетициях, чем и понизил значительно шансы Александрова. Увы! Этот слишком земной человек не веровал в чудеса и не ценил их. Но это не огорчало Александрова. Он наслаждался спокойной военной жизнью, ладностью во всех своих делах, доверием к нему начальства, прекрасной пищей, успехами у барышень и всеми радостями сильного мускулистого молодого тела.

Глава XVI

Дрозд

В четвертой роте числится сто юнкеров, но на рождественские каникулы три четверти из них разъехалось из Москвы по дальним городам и родным тихим гнездам: кто в Тифлис, кто в Полтаву, Полоцк, Смоленск, Симбирск, Новгород, кто в старые деревенские имения. Им хорошо: сплошь две недели отдыха, веселия, приключений, охоты, поездок ряжеными; никакой заботы и памяти об училище. Они вернутся в него лишь десятого января, осипшие от дороги, загоревшие крепким зимним загаром, потолстевшие, с большим запасом домашних варений, солений, сухих яблоков, малороссийского сала, чурчелы, бадриджанов и прочей снеди.

А вот коренным москвичам – туго. Изволь являться трижды в неделю в училище, да еще ровно к семи часам утра, и только для того, чтобы на приветствие Дрозда (командира четвертой роты, капитана Фофанова) проорать: «Здравия желаю, ваше высокоблагородие». А зачем? Мы, здешние, также никуда не убежим, как и иногородние.

Приблизительно так бурчит про себя господин обер-офицер Александров, идя торопливыми большими шагами по Поварской к Арбату. Вчера была елка и танцевали у Андриевичей. Домой он вернулся только к пяти часам утра, а подняли его насилу-насилу в семь без двадцати. Ах, как бы не опоздать! Вдруг залепит Дрозд трое суток без отпуска. Вот тебе и Рождество...

Глаза у Александрова еще не совсем проснулись после краткого сна, в них чувствуется резь и усталость. Но запах снега так вкусен, мороз так весел, быстрое движение так упорно гонит горячую кровь по всему телу... Через две минуты Александров спрашивает самого себя с удивлением: «Где же моя усталость, недовольство и кислота?» Их нет, исчезли. Тело не имеет больше веса. Эта невесомость – одно из блаженнейших ощущений на свете, но оно негативно, оно так же незаметно и так же не вызывает благодарности судьбе, как тридцать два зуба, емкие легкие, железный желудок; поймет его Александров только тогда, когда потеряет его навсегда; так, лет через двадцать.

Снег тонко скрипит под его лакированными сапожками. Снег скрипит под ногами у всех пешеходов. Он визжит под полозьями саней, оставляющих за собою в нем блестящие, скользкие полосы, а на заворотах он крепко хрустит, смятый полозьями. Из всех труб высоко над домами стоят, неподвижно устремясь в зеленое небо и там слегка курчавясь, белые прямые столбы дыма. Вот налево Савостьянов, булочная, а наискосок Арбатской площади – белое длинное здание Александровского училища на Знаменке, с золотым малым куполом над крышей, знак домашней церкви. Слава богу, минута в минуту. Не опоздал.

Портупей-юнкер Золотов – круглый сирота; ему некуда ехать на праздники, он заменяет фельдфебеля четвертой роты. Он выстраивает двадцать шесть явившихся юнкеров в учебной

галерее в одну шеренгу и делает им перекличку. Все в порядке. И тотчас же он командует: «Смирно. Глаза налево». Появляется с левого фланга Дрозд и здоровается с юнкерами.

Мальчишеские прозвища удивительно метки. Капитан Фофанов вислоплеч и длиннонос. Его худощавое лицо смугло и румяно. Черные волосы на голове разделены косым четким пробором; легкой красиво-неуклюжей перевалочкой и боковым наклоном головы, при внимательном и быстром взгляде, он действительно напоминает птицу, и именно черного дрозда. Он очень требователен и суров в делах службы и строевого учения. «Без отпуска», карцер, дежурства и дневальства вне очереди так и сыпятся из него в несчастливые для юнкеров дни. И все это с величайшей вежливостью: «Юнкер Александров, будьте любезны отправиться на двое суток под арест, с исполнением служебных обязанностей». Но вне условий, требующих крутой дисциплины, он фамильярный друг, защитник и всегдашняя выручка. Эти его милые черты хорошо знакомы всем проказливым юнкерам четвертой роты и особенно Александрову, самому неистовому баловнику. Но зато Дрозд ненавидит малейший оттенок лжи и требует от провинившегося юнкера мгновенного и точного признания.

Однажды юнкер Александров был оставлен без отпуска за единицу по фортификации. Скитаясь без дела по опустевшим залам и коридорам, он совсем ошалел от скуки и злости и, сам не зная зачем, раскалил в камине уборной докрасна кочергу и тщательно выжег на красной фанере огромными буквами слово «Дрозд».

В понедельник утром, после утренней переклички, еще не распуская роты, выдержав паузу, капитан спросил, по обыкновению протягивая перед некоторыми словами длинный ять (он был чуть-чуть заикой):

– Э-какой это болван э-начертил в нужнике э-какую-то похабщину?

Александров в ту же секунду громко крикнул из строя:

– Я, господин капитан!

Командир совсем по-птичьи окинул юнкера боковым взглядом и произнес с презрительным равнодушием:

– Э-так я и знал. – И скомандовал роте: – Разойдитесь!

Вечером, перед чаем, когда все зубрили, сидя на своих койках, уроки к завтраму, юнкер Александров увидел Дрозда, проходившего по галерее, и подбежал к нему. Юнкер весь день томился, подавленный великодушием начальника.

– Господин капитан, позвольте мне попросить у вас прощения.

– Э-дурачок, – протянул Дрозд. – Э-пустяки. Ступай заниматься, э-чертежник ты этакий!

И слегка толкнул его ладонью в спину. Но в голосе Дрозда и его прикосновении юнкер почувствовал теплоту.

Так воспитывал Дрозд своих девятнадцатилетних птенцов в проворном повиновении, в безусловной правдивости, на широкой развязке взаимного доверия.

Дрозд, заложив руки за спину, медленно, неуклонно идет вдоль фронта, зорко оглядывая каждое лицо, каждую пуговицу, каждый пояс, каждый сапог. Рядом с Александровым стоит крепко сбитый широкоплечий чернявый Жданов. Он нехорошо бледен, и белки его глаз слюняво желтоваты.

– Э-нездоров? – спрашивает Дрозд.

– Никак нет, господин капитан. Здоров.

Дрозд поводит туда-сюда острым подозрительным носом.

– Э-какую гадость вчера пил? – спрашивает он брезгливо.

Юнкер жмется, но тотчас отвечает:

– В гостях давали ананасный ликер, господин капитан.

– Ффу, какая мерзость! – морщится Дрозд. – Э-это не ликер, а дерьмо. И зачем тебе пробовать э-ликеры. Ну, выпей стакан красного вина, и э-довольно с тебя. А лучше и э-совсем

не пей. Пьют от скуки паршивые неудачники, а перед тобою э-целый мир впереди. Будь весел и пьян э-без вина.

Подходит к концу докучный осмотр. У юнкеров чешутся руки и горят пятки от нетерпения. Праздничных дней так мало, и бегут они с такой дьявольской быстротой, убегают и никогда не вернутся назад!

Но Дрозд выходит на середину фронта, достает из отворота рукава какую-то бумажку и не спеша ее разворачивает. «Да поскорее ты, Дроздище!» – мысленно понукает его Александров.

Дрозд начинает читать, мучительно растягивая свои яти:

– По распоряжению начальника училища сегодня наряжены на бал, имеющий быть в Екатерининском женском институте, двадцать четыре юнкера, по шести от каждой роты. От четвертой роты поедут юнкера:

Он делает небольшим молчанием двоеточие, совсем маленькое, всего в полторы секунды, но в этот короткий промежуток сотни тревожных мыслей пробегают в голове Александра.

Сегодня его день так полно и счастливо занят, что даже совсем не остается места для семейных радостей. К десяти часам он должен ждать в Зоологическом саду Наташу Манухину. Они будут кататься с великолепных ледяных гор. Какое острое наслаждение нестись стремительно вниз на маленьких салазках по отвесной сверкающей дороге, подвернув левую ногу под себя, а правой, как рулем, давая прямое направление волшебному лету. Правда, Наташа придет не одна, а в сопровождении скучной англичанки, похожей на птицу марабу. Но, к счастью, гувернантка не любит кататься с гор и, кажется, считает это одним из русских варварств. Она будет торчать на вышке, кутая в широкое обезьянье боа свой красный британский нос. А Наташа назло ей будет требовать еще и еще, и в последний раз еще и в самый-самый последний. Лицо Александра слегка щекочет Наташина котиковая шубка, и как сладко пахнет эта шубка мехом и тонкими неизъяснимыми духами, и сама Наташа, наверно, гордится своим кавалером: «Как ловок и смел этот милый Александров и, кажется, немного влюблен в меня». Ах, Наташа, совсем не немного, наоборот: до безумия.

В час завтрак у Шпаковских, а после завтрака веселая репетиция водевиля «Не спросясь броду, не суйся в воду», где Александров играет Макарку, а также и в живых картинах. Должно быть, и потанцуют немного. В этом большом, уютном, безалаберном доме две девочки, три барышни и всегда множество их подруг всяких возрастов. Там с утра до вечера поют, танцуют, устраивают игры, едят, влюбляются и звонко смеются. Александрову часто кажется, что он влюблен в младшую из барышень, в белокурую розовую Нину. Впрочем, все любви Александра так многочисленны и скоропалительны, что сестра в шутку зовет его – господин Сердечкин.

Потом обед у Калмыковых, и тоже танцы. А затем – самое главное – вечером знаменитая елка в Благородном собрании, на которую съезжается вся молодая Москва: дети, подростки, барышни и юноши. Туда он обещал сопровождать трех приехавших из Пензы землячек: Машеньку Полубояринову, Сонечку Аничкову и Зою Скрипицыну. Бал, на котором танцуют, после того как детей увезут по домам, до тысячи молодых людей. И, если говорить по правде, уже не в Машеньку ли влюбился, по-настоящему и мгновенно, несчастный юнкер в тот вечер, когда она играла Шопена, а он стоял, прислонившись к пианино, и то видел, то не видел ее нежное лицо, такое странное и такое изменчивое в темноте.

«Только не меня. Дорогой, золотой Дрозд, только, пожалуйста, не меня», – мысленно умоляет Александров.

– Э-Рихтер, – произносит капитан, – Жжданов, Бутынский, Карганов, Прибиль...

«Пронеси, пронеси, пронеси!» – умоляет судьбу Александров, изо всех сил стискивая зубы и кулаки. И вот падает холодно и непреклонно:

– И э-Александров. Кто хочет завтракать или обедать в училище, заявите немедленно дежурному для сообщения на кухню. Ровно к восьми вечера все должны быть в училище совершенно готовыми. За опоздание – до конца каникул без отпуска. Рекомендую позаботиться о внешности. Помните, что александровцы – московская гвардия и должны отличаться не только блеском души, но и благородством сапог. Тьфу, наоборот. Затем вы свободны, господа юнкера. Перед отправкой я сам осмотрю вас. Разойдитесь.

На лестнице Александров догоняет Дрозда. Последняя, отчаянная попытка.

– Господин капитан!

Дрозд останавливается на ступеньке, в птичий недоверчивый полуоборот к юнкеру.

– Э-что еще?

– Господин капитан, позвольте вам сказать, что я катался на коньках, и у меня подвернулась нога. Прямо ступить нельзя, такая боль.

– Э-врешь. Пойди в лазарет и принеси свидетельство.

Душа Александрова катится вниз, как с ледяной горы в Зоологическом.

– Господин капитан, – говорит он смущенно. – Положим, я могу себя осилить. Но у меня другие, важные причины.

– Ну?

– Нет перчаток.

Дрозд хмурится.

– Э-покажи руки.

Юнкер поворачивает обе руки ладонями вверх. Дрозд делает то же самое и сверяет руки свои и его.

– Ерунда. У нас одинаковый размер. Семь или семь с половиной, э-небольшая разница. Вечером я тебе пришлю мои, спросишь у фельдфебеля. Ступай. Ну, что же ты стоишь?

– Господин капитан, – робко говорит юнкер, вновь тронутый великодушием этого чудака. – Положим, перчатки у меня есть, только очень грязные, но я их могу вымыть. Но я должен вам сказать правду (сейчас Александров подпустит маленькую лесть). Я знаю, что вы все можете простить.

Дрозд перебивает его, угрожающе вздернув подбородок вверх.

– Э-далеко не все.

– Простить очень многое, если вам говорят правду.

Дрозд с сомнением косится на юнкера.

– Э-попутай, попутай у меня еще!

– И вот я вам должен признаться откровенно, что...

– Э-девчонки, должно быть?

– Точно так, господин капитан. Барышни. Приехали только на две недели в Москву из Пензы. Мои родственницы. Обещался быть в Благородном собрании на елке. Дал честное слово. Ужасно обидно будет обмануть их и подвести.

Но Дрозд упрямо трясет головою.

– Э-все равно поедешь. А женскую душу я знаю лучше тебя. Опоздал, не пришел – пускай сердится: в следующий раз будет ждать еще нетерпеливее. И кроме того, я тебе скажу (тут его голос смягчается), что бал Благородного собрания, это – толкучка, рынок, открытый вход, открытый для всех: купеческие дочки из Замоскворечья, немки, цирюльники, чиновники и другие шпаки всякие. А в Екатерининский институт на бал можно попасть лишь по строгому выбору, по именному, личному приглашению. В Екатерининском, э-друг мой, учатся девицы лишь из самых древних, самых настоящих, дворянских фамилий. Истинная, столбовая русская аристократия не в Петербурге, голубчик, а в Москве, у нас. Не пропускай случая. Летом выйдешь в офицеры. Придется тебе надолго, если не навсегда, законопатиться в каком-нибудь Проскурове или Кинешме, и никогда ты в жизни не увидишь подобной прелести и кра-

соты. Ну, разве воинская доблесть вытянет тебя вверх или чудом попадешь в Академию, тогда – может быть... Но вернее всего, что навсегда нынешний бал останется для тебя, как прекрасный и э-неповторимый сон. И я тебе твердо говорю, что в пятницу ты сам же поблаговаришь меня. Э-иди, иди, юнкер.

Он ласково концами пальцев потрепал Александрова по плечу и поспешно стал спускаться по лестнице.

«Что же, – подумал Александров. – Видно, так и быть. Хорошо еще, что не на весь день оставил в училище. Все-таки кое-куда поспею. А Машеньке Полубояриновой пошлю записку с посыльным. Да вот еще: пораньше вымыть замшевые перчатки... Ну и Дрозд! Все-таки с ним можно жить. На все смотрю, парады, встречи и церемонии, когда назначают юнкеров по выбору, он неизменно посылает и Александрова. О, тут большая ревность! Все училище помнит, по старому преданию, о том, как застрелился в курилке юнкер Кувшинников, будучи не включенным в те двенадцать рядов со знаменем, которые были наряжены в почетный караул для встречи государя. Здесь дело чести! Да и правда, юнкер Александров не особенно красив, – признается сам себе Александров, – скажем, даже совсем некрасив. Но он лучше многих прыгает через деревянную кобылу и вертится на турнике, он отличный строевик, в танцах у него ритм и послушность всех мускулов, а лучше его фехтуют на рапирах только два человека во всем училище: юнкер роты его величества Чхеидзе и курсовой офицер третьей роты поручик Темирязов... А красота? Что такое мужская красота?»

Восемь без пяти. Готовы все юнкера, наряженные на бал. («Что за глупое слово, – думает Александров, – „наряженные“. Точно нас нарядили в испанские костюмы»). Перчатки вымыты, высушены у камина; их пальцы распялены деревянными расправилками. Все шестеро, в ожидании лошадей, сидят тесно на ближних к выходу койках. Тут же примостился и Дрозд. Он дает последние наставления:

– Следите за своим ножом и вилок и опрятностью на тарелке, если позовут вас ужинать. Рыбу – только вилок; можете помогать хлебной корочкой. Птицу в руки не брать. Ешьте небольшими кусками, чтобы не быть с полным ртом, когда соседка обратится к тебе с разговором. Девчонкам глупостей не врать, всякие чувства побоку и э-к черту-с. Начальнице и генералам кланяться придворным поклоном, как учил танцмейстер. Если начальница протянет руку, приложись, но, склонившись, не чмокай. За старшего Рихтер. Вот и все. Завидую вам.

– Поехали бы с нами, господин капитан, – говорит Александров.

– Э-куда мне. Стар.

Довод печальный, но для юнкеров убедительный. Дрозду тридцать шесть лет. Действительно, в эгоистичном измерении юнкеров, это – глубокая старость. Александров, например, твердо решил дожить только до тридцати лет, а потом застрелиться. Стоит ли продолжать жить древним старцем, хладеющим развалиной?

– Вы еще совсем молоды, господин капитан, – говорит с лицемерным сочувствием цветущий армянин Карганов.

Дрозд машет рукой.

– Где уж!.. куда уж!..

Уедут юнкера туда, где свет, музыка, цветы, прелестные девушки, духи, танцы, легкий смех, а Дрозд пойдет в свою казенную холостую квартиру, где, кроме денщика, ждут его только два живых существа, две черные дворняжки, без признаков какой бы то ни было породы: э-Мальчик и э-Цыган. Говорят, что Дрозд выпивает по ночам в одиночку.

Служитель быстро взбегаєт по лестнице и навтыжку останавливается перед Дроздом:

– Лошади поданы, ваше высокоблагородие.

– Ну, с богом, – говорит Дрозд, вставая. – Верю, что поддержите блеск и славу родного училища. После танцев сразу на мороз не выходите. Остыньте сначала. Рихтер, ты за этим присмотришь.

– Слушаю, господин капитан.

А служитель, коренной, всезнающий москвич, возбужденно шепчет сбоку юнкерам:

– Четыре тройки от Ечкина. Ечкинские тройки. Серые в яблоках. Не лошади, а львы. Ямщик грозит: «Господ юнкеров так прокачу, что всю жизнь помнить будут». Вы уж там, господа, сколотитесь ему на чайшко. Сам Фотоген Павлыч на козлах.

Глава XVII Фотоген Павлыч

– С богом. Одевайтесь, – приказал Дрозд. – Э-смотрите, носов не отморозьте. Семнадцать градусов на дворе.

Юнкера волнуются и торопятся. Шинели надеваются и застегиваются на бегу. Башлыки переброшены через плечо или зажаты под мышкой. Шапки надеты кое-как. Все успеется на улице.

Здесь – вольное, безобидное состязание с юнкерами других рот. Надо во что бы то ни стало первыми выскочить на улицу и завладеть передовой, головной тройкой. Весело ехать впереди других!

Но вот едва успели шестеро юнкеров завернуть к началу широкой лестницы, спускающейся в прихожую, как увидели, что наперерез им, из бокового коридора, уже мчатся их соседи, юнкера второй роты, по училищному обиходу – «звери», или, иначе, «извозчики», прозванные так потому, что в эту роту искони подбираются с начала службы юноши коренастого сложения, с явными признаками усов и бороды. А сзади уже подбежали и яростно напирают третья рота – «мазочки» и первая – «жеребцы». На лестнице образовался кипучий затор.

– Четвертая, не выдавай! – кричит голосистый Жданов где-то впереди.

Александров пробуравливается сквозь плотные, сбившиеся тела и вдруг, как пробка из бутылки, вылетает на простор. Он видит, что впереди мелким, но быстрым шагом катится вниз коротконогий Жданов. За ним, как будто не торопясь, но явно приближаясь к нему, сигает зараз через три ступеньки длинный, ногастый «зверь», у которого медный орел барашковой шапки отъехал впопыхах на затылок. Все трое в таком порядке сближаются на равные расстояния.

В эти доли секунды Александров каким-то инстинктивным, летучим глазомером оценивает положение: на предпоследней или последней ступени «зверь» перегонит Жданова. «Ах, если только хоть чуть-чуть нагнать этого долговязого, хоть коснуться рукой и сбить в сторону! Жданов тогда выскочит». Вопрос не в личной победе, а в поддержании чести четвертой роты.

И судьба ему помогает: правда, со внезапной грубостью. Кто-то сзади и с такою силою толкает Александра, что его ноги сразу потеряли опору, а тело по инерции беспомощно понеслось вперед и вниз. Момент – и Александров неизбежно должен был удариться теменем о каменные плиты ступени, но с бессознательным чувством самосохранения он ухватился рукой за первый предмет, какой ему попался впереди, и это была пола вражеской шинели.

Оба юнкера упали и покатались вниз. Над ними, наступая на них, промчались бегущие ноги.

– Черт вас возьми! – заворчал «зверь». – Это прием неправильный. Я ушиб себе коленку.

В эту минуту Александров почувствовал, что и он сам ссадил себе локоть. Подымаясь, он сказал шутливо, но с сочувствием:

– На войне все приемы правильны. Позвольте, я помогу вам встать. Меня пихнули сзади, и, уверяю вас, что без вашей невольной помощи я разбился бы в лепешку, а так только локтем стукнулся.

– Ну, да уж ладно, – засмеялся «зверь», еще морщась от боли. – До свадьбы у нас обоих заживет. Пойдемте-ка.

В передовых санях, стоя, высился Жданов и орал во весь голос:

– Четвертая рота! Господа обер-офицеры! Сюда! – Теперь уже никто из чужой роты не позволил бы себе залезть в эту тройку. Таково было неписаное право первой заявки.

Какими огромными, неправдоподобными, сказочными показались Александрову в отчетливой синеве лунной ночи рослые серые кони с их фырканием и храпом: необычайно широкие, громоздкие, просторные сани с ковровой тугой обивкой и тяжелые высокие дуги у коренников, расписанные по белому неведомыми цветами.

Белый пар шел из лошадиных ноздрей и от лошадиных спин, и сквозь него знакомый газовый фонарь на той стороне Знаменки расплывался в мутный радужный круг.

Ямщик перегибается с козел, чтобы отстегнуть волчью полость. Усы у него белые от инея, на голове большая шапка с павлиньими перьями. Глаза смеются.

– Садитесь, садитесь, господа юнкера. В дороге утрясется, всем слободно будет.

– Тебя ведь Фотоген Палычем зовут? – спрашивает Бутынский.

– Совершенно верно, – отвечает ямщик, обминаясь на козлах. Голос у него приятный, уверенный и немного смешливый. – А вы откуда знаете?

Находчивый Карганов, не задумываясь, отвечает:

– Кто же не знает знаменитого Фотоген Палыча?

Другие юнкера быстро подхватывают:

– Тебя вся Москва знает. Первый троечник в Москве. Не в Москве, а во всей России.

Это нам уж так повезло, в твои сани попасть.

Невинная лесть! Однако она доходит до крутого ямщицкого сердца.

– Буде, буде... наговорили.

Он тихо, но густо смеется: немного похоже на то, как довольно регочет жеребец, когда к нему в стойло входит конюх с мерой овса.

– Пошли, что ли? – кричит сзади ямщик нараспев.

Фотоген Палыч, разобрав вожжи, в последний раз поерзал задом на сиденье и, слегка повернув голову, протянул внушительным баском:

– Тро-огай...

Заскрипели, завизжали, заплакали полозья, отдираясь от настывшего снега, заговорили нестройно, вразброд колокольцы под дугами. Легкой рысцой, точно шутя, точно еще балуясь, завернула тройка на Арбатскую площадь, сдержанно пересекла ее и красиво выехала на серебряный Никитский бульвар.

Никогда не забыть потом Александрову этой прелестной волшебной поездки! Ему досталось место лицом к лошадям, крайнее справа. Он мог свободно видеть косматую голову широкобокого коренника и всю целиком правую пристяжную, изогнувшую кренделем, низко к земле, свою длинную гибкую шею, и даже ее кровавый темный глаз с тупой, злой белизной белка. С удовольствием он чувствовал, как в лицо ему летят снежные брызги из-под лошадиных копыт. Но в душе его все-таки мелькала, как, может быть, и у других юнкеров, досадная мысль: где же, наконец, эта пресловутая, безумная скачка, от которой захватывает дух и трепыхает сердце? Или она только для пьяных московских купцов? А еще грозился лихо прокатить «юнкерей»!

Но эта дурная мысль так же быстро исчезла, как и пришла. В езде Фотогена есть магическая непонятная красота.

Пробежал назад Тверской бульвар, с его нарядными освещенными особняками. Темный Пушкин на высоком цоколе задумчиво склонил свою курчавую голову. Напротив широкая белая масса Страстного монастыря, а перед ней тесная биржа лихачей и парных «голубков». Кто-то из юнкеров закурил. Александров с трудом достал свой кожаный портсигар и долго возился со спичками, упрямо гасшими на быстром движении. Когда же ему удалось разжечь

папиросу и он поглядел перед собою, то он уже не мог узнать ни улиц, ни самой Москвы. Ехали какими-то незнакомыми чужими местами.

Какой великий мастер своего дела Фотоген Палыч! Вот он едет узкой улицей. Неизъяснимыми движениями вожжей он сдвигает, сжимает, съезживает тройку и только изредка негромко покрикивает на встречные сани:

– Берегись. Поб-берегись, извозчик!

Но только поворотит на улицу посвободнее, как сразу распустит, развернет лошадей во всю ее ширину, так что загнущиеся пристяжные чуть не лезут на тротуары. «Эй, с бочками! держи права!» И опять соберет тесно свою послушную тройку.

«Точно закрывает и раскрывает веер, – думает Александров, – так это красиво!»

А сидящий с ним рядом смуглый Прибиль, талантливый пианист, бодает его головой в плечо и, захлебываясь, говорит непонятные слова:

– Крещендо и диминуэндо... Он – как Рубинштейн!

Временами неведомая улица так тесна и так запружена санями и повозками, что тройка идет шагом, иногда даже приостанавливается. Тогда задние лошади вплотную надвигаются мордами на задок, и Александров чувствует за собою совсем близкое, теплое, влажное дыхание и крепкий приятный запах лошади.

А потом опять широкая безымянная улица, и легкий лет саней, и ладный ритм лошадиных копыт: та-та-та-та – мерно выстукивает коренник, тра-та, тра-та, тра-та – скачут пристяжные. И все так необычайно в таинственном нездешнем городе. Вот под полотняным навесом, ярко освещенный висячим фонарем, стоит чернобородый, черноглазый, румяный, белозубый торговец около яблочного ларя. В прекрасные призмы уложены желтые, красные, белые, пунцовые, серые яблоки. Издали чувствуется в них аромат и ясно воображается на зубах их сладкая кислинка (если бы закусить кусочек поглубже). Вот выбежала из ворот, без шубки, в сером платочке на голове, в крахмальном передничке, быстроногая горничная: хотела перебежать через дорогу, испугалась тройки, повернулась к ней, ахнула и вдруг оказалась вся в свету: краснощекая, веселая, с блестящими синими глазами, сияющими озорной улыбкой. «Поберегитесь, красавица! Задавлю!» – воркующим голосом окликает ее Фотоген и, полуобернувшись назад, говорит:

– Ладные у нас бабочки на Москве живут. – И сейчас же окрикивает замешкавшегося возчика: – Заснул, гужеед!

И вот юнкера едут по очень широкой улице. Александрову почему-то вспоминается давнишняя родная Пенза. Направо и налево деревянные дома об одном, реже о двух окошках. Кое-где в окнах слабые цветные огоньки, что горят перед иконами. Лают собаки. Фотоген идет все тише и тише, отпугивая тонким учтивым голоском лошадей.

Наконец останавливается у трактира. Там, сквозь запотевшие стекла, чувствуется яркое освещение, мелькают быстрые большие тени, больше ничего не видно. Слышны звуки гармонии и глухой, тяжелый топот.

Вторая тройка проезжает мимо. С нее слышится окрик:

– Чего стал, дядя Фотоген?

– Супонь, – сердито отвечает Фотоген.

А уж с третьей тройки доносится деловой бас:

– Знаем мы твою супонь...

Фотоген не спеша слезает с облучка, поддерживая, как шлейф, длинные полы армяка, и величественно передает вожжи Александрову.

– Подержи, барин. Мне тут нужно по одному делу.

Александров польщен и сразу становится важным. Но только – как груба и тяжела эта огромная путаница вожжей.

Юнкера ропшут:

– Да что же это, Фотоген Палыч? Мы так последние приедем. Срам какой!

– Не тревожьтесь, юнкря, – спокойно говорит ямщик. – С Фотоген Павлычем едете!

Он распахивает дверь и исчезает в облаках угарного пара, табачного дыма, крика и звона, которые стремительно вылетают из трактира и мгновенно уносятся вверх.

– Вот тебе и Фотоген! – уныло говорит Жданов.

Но ямщик не заставляет долго себя ждать. Через две минуты дверь кабака распахивается и в белых облаках, упруго взвивающихся вверх, показывается Фотоген Павлыч, почтительно провожаемый хромоногим половым в белой рубахе и в белых штанах.

– Счастливого вам пути, Фотоген Павлович, – учтиво говорит половой.

Фотоген берет вожжи из рук Александрова.

– Спасибо тебе, барин, – говорит он, влезая на козлы и что-то дожевывая. – А вы, господа юнкря, не сомневайтесь. Только упреждаю: держитесь крепко, чтобы вы не рассыпались, как картофель.

Он весел. На морозе необыкновенно вкусно пахнет от него винцом...

– Ведь какой расчет, – говорит он, разбирая вожжи и усаживаясь полочнее, – они, видите, поехали прямой дорогой, только ухабистой, где коням настоящего хода нет. А у меня путь легкий, укатный. Мне лишние четь-версты – наплевать.

И вдруг дико вскрикивает:

– Ей вы, крылатая-я!

«Господи, – думает Александров, – почему и мне не побыть ямщиком. Ну, хоть не на всю жизнь, а так, года на два, на три. Изумительная жизнь!»

Дальше впечатления Александрова были восхитительны, но сумбурны, беспорядочны и туго припоминаемые. Остались у него в памяти: резкий ветер, стегавший лицо и пресекавший дыхание, стук снежных комьев о передок, медвежья перевалка коренника со вздыбленной, свирепой гривой и такая же, будто в такт ему, перевалка Фотогена на козлах. Как во сне, припоминал он потом, что ехали они не то лесом, не то парком. По обеим сторонам широкой дороги стояли густые, белые от снега деревья, которые то склонялись вершинами, когда тройка подъезжала к ним, то откидывались назад, когда она их промелькнула.

Помнилось ему еще, как на одном крутом повороте сани так накренились на правый бок, точно ехали на одном полозе, а потом так тяжко ухнули на оба полоза, перевалившись на другой бок, что все юнкера одновременно подскочили и крикнули. Не забыл Александров и того, как он в одну из секунд бешеной скачки взглянул на небо и увидел чистую, синевато-серебряную луну и подумал с сочувствием: «Как ей, должно быть, холодно и как скучно бродить там в высоте, точно она старая больная вдова; и такая одинокая».

На последнем повороте Фотоген нагнал своих. Впереди его была только вторая тройка. Он закричал, сам весь возбужденный веселым лётom:

– Право держи, любезный!

– У, черт, дьявол, леший, – отозвался без злобы, скорее с восхищением, обгоняемый ямщик. – Куда прешь!

Но уже показался дом-дворец с огромными ярко сияющими окнами. Фотоген въехал сдержанной рысью в широкие старинные ворота и остановился у подъезда. В ту минуту, когда Рихтер передавал ему юнкерскую складчину, он спросил:

– Лихо ли, юнкера?

Они и слов не находили, чтобы выразить свое удовольствие. Правда, они уже искренне успели забыть о тех минутах, когда каждый из них невольно подумывал: «Потише бы немножко».

– Назад опять со мной поедете, – говорил Фотоген, отъезжая. – Только крикните меня по имени: Фотоген Павлыч.

Глава XVIII

Екатерининский зал

Ечкинские нарядные тройки одна за другою подкатывали к старинному строгому подъезду, ярко освещенному, огороженному полосатым тиковым шатром и устланному ковровой дорожкой. Над мокрыми серыми лошадьми клубился густой белый пахучий пар. Юнкера с трудом вылезали из громоздких саней. От мороза и от долгого сидения в неудобных положениях их ноги затекли, одеревенели и казались непослушными: трудно стало их передвигать.

Наружные массивные дубовые двери были распахнуты настежь. За ними, сквозь вторые стеклянные двери, сияли огни просторного высокого вестибюля, где на первом плане красовалась величественная фигура саженного швейцара, бывшего перновского гренадерского фельдфебеля, знаменитого Порфирия.

Его ливрея до полу и пышная пелерина – обе из пламенно-алого тяжелого сукна – были обшиты по бортам золотыми галунами, застегнуты на золотые пуговицы и затканы рядами черных двуглавых орлов. Огромная треуголка с кокардой и белым плюмажем покрывала его голову в пудреном парике с белою косичкою. В руке швейцар держал на отлете тяжелую булаву с большим золоченым шаром, который высился над его головою. Его великолепный костюм, его рост и выправка, его черные, густые, толстые усы, закрученные вверх тугими кренделями, придавали его фигуре вид такой недоступной и суровой гордости, какой позавидовали бы многие министры...

Он широко распахнул половину стеклянной двери и торжественно стукнул древком булавы о каменный пол. Но при виде знакомой формы юнкеров его служебно серьезное лицо распустилось в самую добродушную улыбку.

По училищным преданиям, в неписаном списке юнкерских любимцев, среди таких лиц, как профессор Ключевский, доктор богословия Иванцов-Платонов, лектор и прекрасный чтец русских классиков Шереметевский, капельмейстер Крейнбринг, знаменитые фехтовальщики Пуарэ и Тарасов, знаменитый гимнаст и конькобежец Постников, танцмейстер Ермолов, баритон Хохлов, великая актриса Ермолова и немногие другие штатские лица, – был внесен также и швейцар Екатерининского института Порфирий. С незапамятных времен по праздникам и особо торжественным дням танцевали александровцы в институте, и в каждое воскресенье приходили многие из них с конфетами на официальный, церемонный прием к своим сестрам или кузинам, чтобы поболтать с ними полчаса под недреманным надзором педантичных и всевидящих классных дам. Кто знает, может быть, теперешнего швейцара звали вовсе не Порфирием, а просто Иваном или Трофимом, но так как екатерининские швейцары продолжали сотни лет носить одну и ту же ливрею, а юнкера старших поколений последовательно передавали младшим древнее, привычное имя Порфирия Первого, то и сделалось имя собственное Порфирий не именем, а как бы званием, чином или титулом, который покорно наследовали новые поколения екатерининских швейцаров.

Нынешний Порфирий был всегда приветлив, весел, учтив, расторопен и готов на услугу. С удовольствием любил он вспомнить о том, что в лагерях, на Ходынке, его Перновский полк стоял неподалеку от батальона Александровских юнкеров, и о том, как во время зори с церемонией взвивалась ракета и оркестры всех частей играли одновременно «Коль славен», а потом весь гарнизон пел «Отче наш».

Был, правда, у Порфирия один маленький недостаток: никак его нельзя было уговорить передать институтке хотя бы самую крошечную записочку, хотя бы даже и родной сестре. «Простите. Присяга-с, – говорил он с сожалением. – Хотя, извольте, я, пожалуй, и передам, но предварительно должен вручить ее на просмотр дежурной классной даме. Ну, как угодно. Все другое, что хотите: в лепешку для господ юнкеров расшибусь... а этого нельзя: закон».

Тем не менее у юнкеров издавна держалась привычка давать Порфирию хорошие чаевые.

– А! Господа юнкера! Дорогие гости! Милости просим! Пожалуйте, – веселым голосом приветствовал он их, заботливо прислоняя в угол свою великолепную булаву. – Без вас и бал открыть нельзя. Прошу, прошу...

Он был так мило любезен и так искренне рад, что со стороны, слыша его солидный голос, кто-нибудь мог подумать, что говорит не кто иной, как радушный, хлебосольный хозяин этого дома-дворца, построенного самим Растрелли в екатерининские времена.

– Шинели ваши и головные уборы, господа юнкера, я поберегу в особом уголку. Вот здесь ваши вешалки. Номерков не надо, – говорил Порфирий, помогая раздеваться. – Должно быть, озябли в дороге. Ишь как от вас морозом так крепко пахнет. Точно астраханский арбуз взрели. Щетка не нужна ли, почиститься? И, покорно прошу, господа, если понадобится курить или для туалета, извольте спуститься вниз в мою каморку. Одеколон найдется для освежения, фабрики Брокара. Милости прошу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.